Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



№ 7 1989



Наталья **ИВАНОВА**

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХА

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 7

Наталья ИВАНОВА

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХА

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Наталья ИВАНОВА

Наталья Борисовна Иванова — литературный критик. Окончила филологический факультет Московского университета и аспирантуру МГУ. В настоящее время — член редколлегии журнала «Дружба народов», член Союза писателей СССР. Кандидат филологических наук. Автор книг «Проза Юрия Трифонова» (1984), «Точка зрения» (1988), многих литературно-критических и публицистических статей, печатавшихся в «Литературной газете», «Московских новостях», «Огоньке», «Юности», «Знамени», «Дружбе народов», «Новом мире», «Вопросах литературы», «Литературном обозрении».

ЧЕМ ПАХНЕТ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

На переломах отечественной истории наша литература рождала высокие образцы гражданственности и смелости мысли. Но наряду с мучительными вопросами и выстраданными ответами накатывалась и мутная волна, грозящая порою утопить самые светлые начинания. Бессмертную пародию на окололитературную возню дал Достоевский в «Бесах» — «кадриль литературы». Что это за пляска? Нескольких масок, символизирующих разного рода направления. Охриплостью голоса пожилой господин во фраке изображал одну из известных газет — «танцуя, толокся на одном месте с солидным выражением в лице, часто и мелко семеня ногами и почти не сдвигаясь с места». «Честная русская мысль» предстала в виде господина в настоящих кандалах, вокруг которого семенили две стриженые нигилистки. А визави приплясывал господин с тяжелою дубиной в руке, олицетворяющей грозное издание «Прихлопну — мокренько будет». «Трудно было представить более жалкую, более пошлую, более бездарную и пресную аллегорию»,— замечает повествователь. Некоторые явления нашей литературной жизни невольно заставили меня вспомнить об этих масках, притоптывающих перед уважаемой публикой.

Есть сегодня в обществе искреннее желание разобраться в сложившейся ситуации. Есть и демагогия, ловко использующая слова «гласность», «демократия», «перестройка». Социальная мимикрия, как всегда, рядится в самые передовые одежды. Она, на мой взгляд, гораздо более опасна, чем упрямо стоящий на своем консерватизм.

Давайте с этой точки зрения посмотрим на наши литературные споры. Ведь за, казалось бы, узкоцеховыми дискуссиями открываются проблемы действительности.

В самом начале года мне довелось ознакомиться с двумя противоположными взглядами на критику.

Вопрос: Как вы относитесь к литературной критике?

Ответ: Я ее не замечаю. Но только не могу понять, как из собственного недовольства можно делать профессию. ...На одного пишущего (сегодня.— *Н. И.*) десять критиков (В. Пикуль.— «Книжное обозрение», 1988, № 1).

А вот совсем иная точка зрения, выраженная в письме читателя Г. В. Кузнецова из г. Альметьевска Татарской АССР: «О том, что нынешний год — это год журналов, говорят все. Но ведь это еще и год критики! Год, когда она впервые за много лет серьезно заявила претензии на полноправное место в ряду литературных видов и родов. Во всяком случае, это впервые почувствовал рядовой читатель вроде меня.

Каждый раз, получая долгожданный номер любого «толстого» журнала, первым делом ищешь в нем не прозу и не стихи, а критику и публицистику, и критику даже раньше, поскольку она более оперативна и ближе всего к смыслу слова «журнал» как дневник современной жизни. И наша лучшая, «критическая» критика в этом году (...) работает на перестройку, воплощая в себе демократизацию и гласность не как застывшие понятия, но как живой, развивающийся процесс. Вот почему читать критические статьи интересно и хочется на них откликаться.

Кажется, кончается период жалоб на серую литературу, вызвавший столько насмешек, и начинается настоящая, хорошая борьба с конкретными носителями серой литературы... Читатель ждет восстановления пробелов не только в повествовательной литературе, но и в критике тоже. Точнее, он ждет построения реальной критической картины состояния дел в нашей словесности сегодня и в прошедшие два десятилетия».

Социальный заказ сформулирован четко. Посмотрим, как и что меняется в нашей литературной жизни. Да и меняется ли?

Десятилетиями от литературы требовали одного: чтобы она была верна жизни. Десятилетиями того же требовали от критики (плюс верности литературе). Слова те же самые. Говорилось одно, а подразумевалось другое.

При Л. И. Брежневе больше всего говорили о развитии социалистической демократии...

Насущнейшая проблема сегодня — вернуть словам их подлинный, реальный смысл. Очистить их от многолетних демагогических наслоений.

Внушалось прозаику: «Следуй жизни!»

Внушали непослушным критикам: «Следуй литературе и жизни!»

Но ведь при этом ни критик, ни прозаик и думать не смей о реальной — нелегкой, трудной, драматичной — действительности. Возник своего рода общественный договор: призывали к отражению какой-то неведомой, сконструированной «как бы» жизни. С «как бы» конфликтами и несуществующими «положительными» героями. Ведь совсем недавно — всего года три назад — дискуссия о «положительном» герое прошла на страницах «Литературной газеты». Перья ломали... А оказалось, литература истинная думала совсем о другом.

Критика сегодня должна избавиться от «как бы». От второго плана. От «один пишем, два в уме».

АУ, БЕЛИНСКИЙ!

«Где бы сегодня смог опубликовать свои «Литературные мечтания» гениальный Виссарион Белинский?» — этот риторический вопрос звучит в статье В. Бондаренко «Очерки литературных нравов» («Москва», 1987, № 12).

Ответ подразумевается, видимо, сам собою — в журнале «Москва»...

Но шутки в сторону. Вопрос — где печататься? — тоже важен. Однако важнее все-таки вопрос, ему предшествующий: что печатать?

Появились статьи, свидетельствующие о возрождении традиций добролюбовской «реальной» критики. Критики, которая делает шаг к познанию общества «в интересах его развития и преобразования» (так определил задачи «реальной критики» Ю. Буртин в статье, опубликованной в июньской книжке «Нового мира» за 1987 год). «Поле лежит невспаханным,— горько замечает Буртин.— Есть у нас всякая критика, и такая, и этакая, но критики реальной, то есть той, что судит о литературе в контексте серьезного и последовательного разговора об обществе,— такой критики мы давно уже не видели в своем отечестве».

Но не прошло и несколько месяцев после выхода «новомирской» статьи, как читатели смогли убедиться, что этот вывод устарел. Я имею в виду появление в печати социального памфлета Ю. Карякина «Стоит ли наступать на грабли? Ответ одному Инкогнито» («Знамя», 1987, № 9), и «Вам, из другого поколенья...» самого Ю. Буртина («Октябрь», 1987, № 8). Доказательством «неправоты» пессимизма Ю. Буртина явились и письма читателей, опубликованные в двенадцатом номере «Октября». Сильный общественный резонанс получила статья, посвященная не только поэме Твардовского, трудной ее судьбе, а в целом политической жизни общества в 60-е годы.

Буртин в своей «октябрьской» статье не касается вопроса о художественном стиле поэмы Твардовского. Как справедливо отмечает читатель, статья о «прошедших десятилетиях», о правде и лжи, о нас с вами». Читатели статьи Буртина, кстати, тоже разделились на два потока: тех, кто поддерживает «отпор столпам прошлого» («Если дать им шанс подняться снова, они камня на камне не оставят от гласности!»), и тех, кто считает критику сталинизма «очернительством» всей нашей истории («Народ не желал оплевывания сталинского имени ради удовольствия эстетствующих снобов»). Так, по-разному думают двадцатилетние.

Борьба сил забвения с силами памяти идет и теперь. Но принимает другие формы.

Иногда эти формы достаточно очевидны. Здесь и стремление ценой любых исторических искажений сохранить в незыблемости облик «вождя», и — гораздо более тонкое — стремление, пожертвовав этой мрачной фигурой (объявив ее чуть ли не параноической — как это делает

Д. Волкогонов в статье «Феномен Сталина» — ЛГ, 1987, 9 декабря), утверждать, что мы все-таки шли исключительно от достижения к достижению. Упорно пытаются возродить тезис о «перегибах». Тем самым реанимируется «взвешенная» логика качелей: «с одной стороны» — «с другой стороны», «несмотря» — «однако»... И вот уже нам отчетливо пытаются внушить мысль о том, что у нас после революции не было альтернативы, что история развивалась в единственно верном направлении, что попытка драматурга поставить вопрос иначе — субъективизм, а ведь тут остается всего лишь один шажок до мысли об о п р а в д а н и и этого пути.

Почему нынче писатели, в том числе критики и публицисты, сосредоточиваются на Сталине? — задается и такой вопрос.— Разве нет у нас других, более актуальных проблем?

Анализируя почту статьи, Ю. Буртин справедливо пишет о том, что «есть сталинизм, так сказать, начальственно-бюрократический и есть массовый, «низовой». Этот массовый сталинизм — серьезнейшая наша проблема, от решения которой кровно зависит будущее перестройки, ибо будущее формируется сегодня тем направлением, которое мы ему придаем.

Идти от жизни — или идти от «долженствующих», нормативных представлений о ней: таков сегодня выбор. Казалось бы, давно уж мы похоронили «ермиловщину» с ее догматическими предписаниями литературе (и обществу), куда и как обязана развиваться. Эмпирика проходит, а «методология» все еще, оказывается, зеленеет, удобно расположившись, например, в статье В. Бондаренко. Нет, не по Белинскому тоскует сердце сегодняшних потомков Ермилова, не о том оно болит, где печататься нынче новым Белинским и Добролюбовым! Печется оно все о той же нормативности, призывая литературу к «сильным характерам». А сегодня, предупреждает бдительный автор, в прозе идет «ставка на слабого человека».

«Оставим на совести автора» — любит В. Бондаренко такой «эзопов» стилистический оборот, свидетельствующий совершенно о другом: о бессовестности того, о ком идет речь. Распространяя прием на автора, оставим на его совести утверждение, что в период «застоя» «одному «Нашему современнику» удавалось печатать независимые статьи» (напомню, что эти статьи носили большей частью погромный характер,— а громили в «Нашем современнике» не самых плохих писателей — от Трифонова до Паустовского). Переходя к нашим дням, В. Бондаренко докладывает по начальству, что сейчас «нам с удовольствием показывают изнанку советского семидесятилетия», что везде выбирают для печати только «застой, насилие, лагерные бараки». А ведь «героическое поколение и в бараках лагерей не спешило «перестраиваться» (?! — *Н. И.*) ускоренными методами, оставалось поколением убежденных, сильных людей... Из лагерей шли добровольно в штрафбаты защищать Родину». Вот, оказыва-

ется, чему радуется В. Бондаренко. А вы все со своими «жертвами» да «страданиями» лезете!

Логика в таких сочинениях поистине непредсказуема. Вот пишет В. Бондаренко о статье В. Горбачева в «Молодой гвардии»: «...Многое и мне в этой статье кажется неубедительным. Есть односторонность в подборе писательских имен, бездоказательные обвинения в адрес всех изданий, кроме своего собственного». А на той же странице статья В. Горбачева характеризуется как «нешаблонная» «предельно острая, достойная по тону публицистическая статья», которая «как катализатор действия очень полезна для большего проявления общей картины литературного процесса». Так «неубедительная», «бездоказательная по обвинениям», то есть, попросту говоря, лживая, или «достойная по тону» и «полезная»?

Во вполне благостной, понимающей интонации рассуждает автор о молодогвардейской статье. В восторженных тонах — о критике «Нашего современника». Но как только его перо касается других журналов, других имен, следуют оскорбительные определения: «волна «прогрессивного мракобесия», «органы «быстрого реагирования», сегодня почти все оказавшиеся в руках приверженцев «отрицательной культуры», «кликушество», «групповщина самого дурного толка», «раздутость многих репутаций»... А где же дьявол-то гнездится? Самое страшное, по Бондаренко,— это люди, прогрессивно мыслящие. «Трепетные любители прогресса» (так они им пренебрежительно характеризуются), «еще немного — и тюремного заключения потребуют для «нелиберально мыслящих». На это «предположение» лучше всего ответить словами самого Бондаренко: «Речь, как вы понимаете, идет уже не о критике и полемике, пусть и самой острой». Речь идет о попытке компрометации. «Скомпрометировать оппонента менее трудоемко, нежели аргументировать собственные соображения,— справедливо заметил в № 1 «Искусства кино» критик Ю. Богомолов,— но зато эта операция более эффективна, особенно в том случае, если ей удается придать политический оттенок».

КАК СКРЕСТИТЬ БАЛЬЗАКА С АВВАКУМОМ?

Крайности всегда сходятся.

От комплиментарщины до инсинуаций — расстояние не более шага. Касается, скажем, вопрос позиции критика С. Чупринина. Естественно, могут существовать разные оценки его работ. Но вот к какому идеологическому столбу его приковывает А. Байгушев: «Практически С. Чупринин выступил против основополагающего принципа ленинской концепции национальной культуры» («Молодая гвардия», 1987, № 12).

Но вот А. Байгушев переходит к другому жанру. В статье «Летопись поколения» («Наш современник», 1988, № 1) он рассуждает о прозе П. Проскурина. Лексика здесь совсем иная. «Масштаб повествования

огромный», «аввакумовское жгучее чувство нравственности», «труд, который, пожалуй, вполне может стать вровень с такими масштабными произведениями», как «бальзаковский романный цикл «Человеческая комедия». В 70-е годы писатель, оказывается, работал лишь «на таежном упорстве — при равнодушии журналов, упорном барском замалчивании» критики.

Почему же «элитарная критика» (еще один ярлычок) проявляет «равнодушие» к П. Проскурину? Дается тонкий намек на рептильность «элитарной»: потому, что Проскурин «не занимал никаких постов». Но самая главная, корневая причина — неприязнь критиков к «русскому роману». Вот так. Не нравится тебе, критик, этот автор, равнодушен ты к нему, а ты, оказывается, против «русского романа» в принципе.

Перемены переменами, перестройка перестройкой, а почерк-то, оказывается, старый. Вчерашний.

Ну как прикажете понять сравнение Проскурина с Аввакумом? Аввакум — символ бескомпромиссности, за которую плачено собственной реальной, человеческой жизнью. Ведь уподобить нынешнего юбиляра Аввакуму как-то неловко, не правда ли? Если учесть к тому же и невероятное (в «застойные»-то времена) количество изданий и переизданий, и миллионные тиражи, экранизации и бесконечные телесериалы по книгам Проскурина. Не очень похоже на Аввакума.

А при чем здесь Бальзак? «Человеческая комедия» — свод романов, в которых писатель последовательно разоблачал буржуазное общество, общество «новых людей». Проскурин пишет несколько о другом и на другом, мягко говоря, уровне. Но мы опять употребляем сравнение легко, не задумываясь над подлинным содержанием. Опять торжествует проклятое наследие прошлых времен — «как бы», «вроде». Наш «как бы Бальзак», «что-то такое вроде» Аввакума... Приблизительность мысли сразу сдвигает, нарушает систему истинных ценностей. А когда сдвигается эта система, то все здание оказывается выстроенным на песке. Таков подарок критика прозаику.

Задумаемся, например, что за новый термин такой — «русский роман»? Роман Тургенева? Или Достоевского? Пушкина или Толстого? Гончарова или А. Белого? Полифонический или монологический? Явлений, слава тебе, господи, множество, и настоящая наука о литературе глубоко и серьезно их изучает. Но отечественное литературоведение не оперирует термином «русский роман». Опять играем в слова, реальную сумму знаний об обществе, о литературе пытаемся подменить фразой, за которой надо угадывать совсем другой, «эзопов» смысл. А смысл такой: «Проскурин — истинный патриот, раз он пишет «русский роман» в отличие от романистов, работающих в иной стилевой, скажем так, манере.

Если критик озабочен проблемами своей национальной культуры и хочет определить ее место в ряду других культур — это прекрасно. Но если ты заранее отделяешь иерархической кастовой чертой — как осо-

бые — качества своей культуры, неплохо было бы для начала взглянуть на проблему с другой, соседней национальной точки зрения. Тем более что живем мы все в многонациональном обществе. Печально, что иногда приходится об этом напоминать.

Вот, скажем, сколько раз я читала в публикуемых ныне статьях об «истинно русском добросердечии». А разве белорусы или абхазцы его лишены? Или об «истинно русском» гостеприимстве, «прекрасном русском женском целомудрии»... А грузины, армяне не гостеприимны? Азербайджанки не целомудренны?

Или пишем (опять цитирую А. Байгушева): «Поэтическое мироощущение у русского писателя органично, поскольку исходит из самой его натуры, из высшего смысла человеческого существования на земле...» Позвольте, а у латыша Ояра Вациетиса оно не было «органичным»? Не выходило «из самой его натуры»? Или у эстонца Юри Тулика оно не исходит «из высшего смысла человеческого существования на земле»?

Передергивания, исторические ляпы, безграмотность всегда были оборотной стороной аллилуйщины. Рассуждая о времени, например, А. Байгушев пишет: «Канун 1953 года. Время, как теперь говорят, перелома, «оттепели» и первой, задохнувшейся репетиции перестройки». Но если Проскурин объявлен нынче «страдальцем», то почему бы «канун 1953 года», то есть время «дела врачей» и «борьбы с космополитами» не объявить «оттепелью» и «репетицией перестройки»? Историческая точность мало волнует критика. Главное для него — почаще употреблять слово «перестройка».

Главное для иных сегодня — затормозить процесс освобождения литературы. Приемы тут разнообразятся с каждым днем.

Вот один из новейших приемов: сделать вид, что ничего достойного за 1987 год в журналах не появилось. Отвечает, скажем, А. Проханов на вопрос о самых значительных публикациях 1987 года и называет только роман В. Личутина «Любостай». В. Личутин — прозаик действительно неплохой. Но будем откровенны: разве его произведение стало событием года? Или В. Гусев, снисходительно рассуждая о «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка, ворчливо говорит о ее невысоком художественном уровне: «Так не пишут прозу». Что ж, видимо, В. Гусеву то, как надо писать прозу, ясней, чем Б. Пильняку. Не буду спорить. Вспомню лишь, что, когда В. Гусев писал о прозе А. Проханова, он горячо приветствовал именно «новую» художественность.

ПОПЫТКА РЕАНИМАЦИИ

Прошедший литературный год был беспрецедентным по публикациям. Увидели свет пятьдесят и более лет ждавшие читателя стихи, поэмы, повести, романы, статьи. Продолжается и реабилитация их авторов.

Однако в работе по реабилитации крупных художников и их произведений пока вяло слышны голоса из республик. Подавляющее большинство литературных событий происходит все-таки в Москве. В Узбекистане только начали публиковать трагически погибших в 30-е годы поэтов Чулпана и Фитрата. Хоть какие-нибудь сведения о них пробиваются на страницы прессы с трудом. В Казахстане хранят упорное молчание о поэте Магжане Жумабаеве, заклейменном в оные годы националистом, дважды (в 1930 и 1937 годах) репрессированном, давно реабилитированном. Но бумага о реабилитации есть, однако творчество все еще ждет реабилитации. На Украине давно не издавались произведения Хвылевого — мастера прозы XX века, одного из зачинателей современной украинской литературы. Хвылевой покончил с собой в 1933 году, сорока лет, затравленный официозной критикой. Только в декабрьской книжке «Вітчизны» за 1987 год появился один его рассказ. На русский Хвылевого только начали переводить, он пока неизвестен. Американские издатели выпустили пятитомное собрание его сочинений, найденных — по крупицам — в наших изданиях 20-х годов. Опять будем плестись в хвосте ситуации? Ссылаться на то, что раз за океаном интересуются, то нам не надо?

В республиках пока крайне робко, если не сказать застенчиво, уклоняются от назревших проблем. В Москве печатают «Реквием», «По праву памяти», приходят к читателю романы Б. Пастернака, В. Гроссмана, а в газете «Советская Белоруссия» тех, кто пытается вырвать из забвения имена безвинно пострадавших, снисходительно называют «доморощенными реабилитаторами». В. Пепеляев (29.12.1987) пишет, что такие слова о сталинизме, как «уничтожение лучших», «жертвы бюрократии», «геноцид против собственного народа» — это, мол, преувеличение. Строго выговаривает тем, кто сегодня задается серьезнейшими вопросами: почему, например, жертвы в Великой Отечественной войне столь катастрофически огромны? Пытаясь затормозить разбуженную активность молодежи, общества, В. Пепеляев считает, что, мол, среди репрессированных в годы террора есть «заслуженно» пострадавшие, что не столь уж и порочна живучая мысль о «врагах народа».

Сегодня, говорит В. Пепеляев, «в духе перестройки и гласности» «надо не выискивать какие-то негативные стороны, а помочь избавиться от них (как это сделать без их обнаружения — тайну сию знает, видимо, один лишь В. Пепеляев), поддержать полезную инициативу, избежать ненужных (? — *Н. И.*) наслоений».

«Самая активная часть общества, его молодежь,— отвечает А. Майсене и В. Пепеляеву В. Быков («Советская Белоруссия», 9.01.1988),— не перестает задавать вопросы вроде того: как могло случиться столь вопиющее нарушение социалистической законности, в результате которого погибли тысячи невиновных людей? Тысячи, а может, миллионы?» Новоявленные статистики «странно умалчивают о количестве репрессированных в годы культа личности Сталина, словно бы эти цифры не заслу-

живают серьезного внимания советских людей,— пишет В. Быков.— Но люди, в том числе и молодежь, ищут четких ответов на кардинальные вопросы того времени, важнейшим из которых, несомненно, является вопрос о палачах и жертвах. ...признав несомненную противозаконность репрессий 30-х годов,— продолжает писатель,— мы не можем уйти от настигающего нас вопроса: кто виноват?»

И вот тут опять обнаруживаются те самые две позиции, о которых я говорила в начале своей статьи.

Первая: зачем размежевываться? Давайте объединимся — под знаком нового забвения! Все виноваты — никто не виноват! А. Майсеню, например, настораживает «...требование публично назвать поименно не только тех, кто пострадал в годы репрессий, но всех тех, кто... совершал «преступления». Ведь многие из них, мол, были искренни в своем заблуждении...

Уже стали известны фамилии тех, кто сгубил Н. Вавилова. Страна знает фамилию следователя Хвата, истязавшего его. «В «Московских новостях» от 3 января сообщены фамилии тех, кто инспирировал в 1939 году репрессии против группы московских девушек, осужденных за «контрреволюционную деятельность». А что в Белоруссии? — спрашивает В. Быков. Где имена людей, сгубивших в своем «искреннем заблуждении» писателей Тишку Гартного, Платона Головача, Максима Гарецкого, Михася Зарецкого, Владислава Голубка?

«Странно видеть в современной газете,— говорит В. Быков,— этот поток умилительного добросердечия к тем, кто губил или способствовал гибели тысяч, и при этом повсеместно натыкаться в статье на труднообъяснимую непримиримость к посмевшим выразить свои, пусть даже ошибочные взгляды».

Как только человек перестает автоматически повторять вслед за другими, как только он начинает размышлять (пусть порою и ошибаясь, о чем говорит В. Быков), так немедленно ему приклеивают политические, подчеркиваю, ярлыки, пытаются скомпрометировать его общественную позицию, жирно намекнуть на его идейную ущербность.

Для критика Ю. Идашкина середины, например, нет. Как только он перестает расточать елейные комплименты в привычные адреса, то переходит немедленно к политическому погрому. Из его статьи «Разные лики покаяния» («Литературная Россия», 1988, № 2) я узнала о себе следующее (обвинения направлены в адрес моей, как ее называет Ю. Идашкин, «нравственно-политической позиции»): «агрессивное стремление к моральному, а затем и организационному отлучению инакомыслящих», «ликующая агрессивность», «экстремизм», «авангардизм», который «является обратной стороной консерватизма» — и даже — жажда «стать Жанной д'Арк литературного обновления», которой хочется «возжечь» «маленький, но очень жаркий» костер... У Ю. Идашкина образование юридическое, но еще из школьных уроков он мог бы извлечь полезные знания о том, что на костре сожгли саму Жанну. А не наоборот.

Это мой единственный комментарий к развесистым политическим ярлыкам в мой адрес, примеры могу умножить без труда.

Таковы нынче нравы. Такова «литературная кадриль».

Но вернусь к вопросу более жгучему, поднятому В. Быковым.

На этот вопрос, как свидетельствует пресса, тоже существуют разные ответы. Ю. Идашкин, например, рассказывает нам сегодня рождественскую байку о том, как по-дружески нежны отношения бывшего зэка с бывшим начальником лагеря, если тот просто выполнял порученное ему дело, не выходя за рамки «установлений» бериевщины. «Мы долго беседовали в редакции, потом зашли в кафе и сидели там до закрытия» (так не хотелось им расставаться — литератору, зэку и «начальничку»). Вот что поведал начальник: «В своих действиях я исходил вот из чего: человек совершил преступление и наказан, а мой долг — способствовать тому, чтобы по отбытии срока он вернулся в общество и стал его полезным членом. Конечно, никаких особых условий создать я не мог. Но отягощать и без того тяжкую участь людей старался не позволять».

Ну, чем плоха легенда? Мол, «установления»-то были в лагерях сталинских вовсе даже не плохие, главное — «за рамки» было не выходить. А те, кто и сегодня жаждет, исходя из «требований жизни», отвергнуть устаревшие законы и инструкции, проявляют, оказывается, «правовой авангардизм». Клеймо опять поставлено. На сей раз политическо-юридическое. Методы отработанные.

РЕВАНШ ПО-ПИСАТЕЛЬСКИ

«...Сумеем ли мы полно и глубоко усвоить завещанное веками эстетическое наследие, уяснить нравственные уроки минувшего?» — риторически спрашивает молодой критик А. Казинцев. И тут же отвечает отрицательно: «Публикации последних месяцев, к сожалению, не позволяют дать обнадеживающего ответа на этот вопрос» («Наш современник», 1987, № 11).

А. Казинцев полагает, что в последние месяцы не история стала постепенно выходить из мрака и забвения, а «началась охота» в ее «заповеднике» (ничего себе «заповедник», особенно если отчетливо представить себе 30—40-е годы). А. Казинцев сурово делит писателей, обращающихся к истории, на два ряда: «продолжателей» и «потребителей». В списке «потребителей» у Казинцева лидирует Ю. Трифонов, даже в самые трудные времена умевший говорить правду о времени: вспомним хотя бы «Дом на набережной», «Старик», «Время и место». Глубинный анализ 30-х годов, безыллюзорное исследование «пружин» террора, исторической слепоты живущих в Доме на набережной и объективной вины тех, кто стоял у начал (об этом прямо и недвусмысленно свидетельствует историческая концепция Трифонова в целом, вся «цепь», которую он старался вытащить из колодца истории), проникновение в истоки совре-

менного конформизма — все это есть в недавно опубликованном романе Ю. Трифонова «Исчезновение». Но путем подтасовок и откровенных передержек А. Казинцев хочет убедить читателя в противоположном. Следует вывод: «Не покаяние, а скорее оправдание» Дома и его жителей (всех скопом, и жертв, и палачей!) — «основная идея романа».

Кого же призывает ж а л е т ь, кому с о с т р а д а е т А. Казинцев? Тому, кто проводит о б ы с к в квартире арестованного. Да-да, именно на него, считает Казинцев, не хватило «сострадания» писателя, зато вполне хватает «понимания» критика. Вас это возмущает? Не убеждает? Не беда — передернем под конец еще раз, да потуже. И вот уже «писательская память» Трифонова уподобляется лагерному конвою, под которым ведут нынче по страницам журналов бедного экзекутора. А. Казинцев легко амнистирует «мужичка-простачка», моющего руки после грязного дела. Ю. Трифонова же объявляет «красноречивым защитником» тех, кто спускал приказы об арестах и расстрелах.

Что ж, Трифонову при жизни довелось столкнуться и с непониманием его идей, и с намеренным искажением, фальсификацией его литературной и общественной позиции. Но сегодня?

Видимо, это одна из негативных сторон нашего времени, когда люди, отстаивающие групповые амбиции, громче всех кричат о равном партнерстве в дискуссиях, пользуясь тем, что тот начальный период демократизации, в котором мы нынче находимся, не выработал еще правовых норм защиты личности от клеветы.

«Вот и дождались мы, слава труду, наших светлых дней», — умиляется Василий Росляков («Литературная Россия», 28 августа 1987 года). Но чем дальше углубляешься в пространное сочинение под многозначительным названием «Реванш?», тем яснее становится: фразочка-то полна глубокомысленной иронии. Над чем же иронизирует литератор? Оказывается, над словом «радость» применительно к происходящим событиям. Ибо, как следует из текста В. Рослякова, происходящие события его ни в коей мере не радуют. «...В наши дни ошеломляющей гласности и полной свободы», — нагнетает иронические модуляции В. Росляков, с нескрываемым сарказмом отмечая «светлый праздник возвращения на Родину обиженных судьбой русских талантов». Говоря о возвращении национального наследия, В. Росляков постоянно пользуется словом «мы». «Мы» дождались, «поток ностальгических стихотворений хлынул на нас», «возвернулись к нам», «мы радуемся», «разве могли мы мечтать...». Дочитаем, однако, до конца: «...мечтать о таких вещах еще вчера, когда вовсю исключали из этого Союза...» (СП СССР. — *Н. И.*) своих писателей. И вот здесь-то удобное словечко «мы» почему-то стыдливо опущено, можно подставить и «они».

Чуть позже, правда, поясняется затаенный смысл упорного именования себя во множественном числе, причисления ко всемогущему «мы». «...Оказались правы мы, — уже не иронизирует писатель. — ...Советская власть права...». И хотя стилистика сочинения не позволяет все же без

колебаний отринуть мысль, что эта фраза тоже иронична, но все-таки вспоминаются слова А. Платонова: «Не путайте себя с человечеством!» Уж больно серьезного и величественного союзника одним росчерком пера приобретает вдруг посерьезневший собрат!

По логике В. Рослякова, если возвращенные ныне национальные ценности создавались людьми, не вернувшимися в Россию, или людьми, не разделявшими «наших» убеждений, то они «нам» вроде бы и не нужны. Особый сарказм автора «Реванша?» вызывает парик Анны Павловой, привезенный на Родину И. Одоевцевой. Зачем он «нам» в нашей «революционной перестройке», иронизирует В. Росляков.

Следуя мысли В. Рослякова, можно опять договориться до того, что-де и И. Бунин «нам» не ко двору, и снова вспомнить, как в незабываемые тридцатые — пятидесятые, о «религиозном мракобесии» Федора Достоевского. Под знаком той же логики бдительные охранители 30-х годов писали о расцвете лирики Б. Пастернака: «это лирика «вообще»,— того социально-исторического «вообще», которое в лучшем случае делает искусство идейно и художественно неопределенным».

Собрат-литератор В. Росляков с, прямо скажем, непонятным удовлетворением отмечает факт... смерти русского писателя В. Набокова. Процитировав его строки: «Но музы безродные нас доконали, и нынче пора нам из мира уйти»,— ироничнейший гуманист с несомненным чувством облегчения заявляет: «Вот, Владимир Владимирович, так будет ближе к правде». И тут же — издевательски по отношению к старому больному человеку — продолжает: «Но вот же не всех доконали безродные музы. Например, Ирина Владимировна Одоевцева даже (! — *Н. И.*) вернулась домой...»

Да, не всех «доконала» безродная муза. Многих доконало и возвращение. Вспомним трагическую судьбу Марины Цветаевой и ее семьи. Горька память о тысячах других, прозревших, вернувшихся и прямо с вокзала попадавших туда, откуда уже не возвращаются...

Не нравится В. Рослякову, что напечатаны, например, крупные подборки стихов Николая Степановича Гумилева (уж и не знаю, почему В. Росляков аттестует его Семеновичем? Для смеха, что ли): «Наперебой спешат с публикациями». Выходят наконец романы А. Бека и Б. Пастернака, имевшие трагическую судьбу, авторы которых скончались, не дождавшись справедливости,— В. Росляков опять настроен скептически. Сама за себя говорит и лексика при упоминании тех, кто — «слава труду» — дожил до публикации: «выкладываются на литературном прилавке написанные загодя и явно не проходимые по т е м временам романы Анатолия Рыбакова и Владимира Дудинцева и даже Анатолия Приставкина». Я уже отмечала умение В. Рослякова давать вторую жизнь отдельным словам. Так и здесь — какие хитрые словечки — «даже» и «загодя»! Так и видишь зловредных писателей, тративших долгие годы на сочинение романов з а г о д я, впрок, чтобы потом с ними выскочить, удивить публику.

Так все-таки почему «мы» так нервничаем? Не потому ли, что при свете произведений, возвращенных в национальную культуру, и публикации написанных «загодя» сильно потускнели сочинения тех, кто пытался за эту культуру представительствовать, отождествлял эту культуру с собой?

Вопрос, надо ли сегодня радоваться, возвращая на журнальные страницы В. Набокова,— это вопрос тактики («кто кого» вытесняет и т. п.). А ведь, если задуматься всерьез, эта проблема совсем иного ряда. Проблема полноценного существования нашей культуры в огромной исторической протяженности. Сам подход — «печатать в журналах — печатать в книгах» — носит оттенок рыночного взвешивания. Это подход узкоутилитарный. Ничему не способствующий.

Вопросы культуры — стратегические, а не тактические. А к этой мысли «мы» никак не привыкнем.

Заметим, что оценки того, что приходит сегодня к читателю, самые разные. Кто-то, чей вкус сформирован В. Пикулем, не сможет дочитать до конца платоновский «Котлован». Поклонников, скажем, поэзии В. Сидорова может не заинтересовать Н. Гумилев. Ну, что же, о вкусах, как говорится, не спорят. Но дело не во вкусах.

В дореволюционной России лозунгами «не пущать!» и «запретить!», как известно из бессмертных сочинений М. Салтыкова-Щедрина, руководствовались надзирающие чиновники. Мог ли вообразить классик, что эту «запретительную» идеологию способен проповедовать свой брат литератор?

Запретительная идеология обязательно формирует образ врага. Способ известен — идеологический ярлык. Скажем, разделяем писательское мышление на «здоровое» и «подорванное... где-нибудь на трудных исторических поворотах». Логика такова: если ты и твои близкие (а таковых, как известно, в стране миллионы) хоть как-то пострадали от репрессий, то мышление твое отныне и навек — «подорванное» (как не вспомнить дела репрессированных с мстительным штампом «хранить вечно» — тоже не без иронии был сочинитель). «Может, ты подорвался на раскулачивании. Может, социальное и историческое мышление подорвалось у тебя на всем периоде культа личности».

Не понравилась В. Рослякову, скажем, статья С. Залыгина «Поворот», опубликованная в «Новом мире». Нормальное дело: нравится — не нравится, согласен — не согласен. Но В. Росляков смотрит вглубь: «...Я даже стал подозревать, что у автора «Поворота» тоже подорвано историческое и социальное мышление. На чем и где подорвал он его, я сказать точно не могу, потому что не знаю жизненного пути этого видного писателя». Странная недоработка для человека, который пользуется методами подозрений и догадок!

В. Росляков осуждает С. Залыгина за ясное и твердое отрицание идеи индустриализации и коллективизации «любой ценой». «Любую цену», оплаченную страданием и кровью своего народа, Залыгин не при-

емлет. А что противопоставляет ему В. Росляков? Передернув мысль писателя, он опять «догадывается»: «Получается, что Сергей Павлович начал бы прицениваться, торговаться: какой ценой, сколько надо заплатить за индустриализацию, сколько за коллективизацию?» Ерничает, мягко говоря, В. Росляков не столько над позицией писателя, а над жертвами народными, да еще и высокомерно обучает С. Залыгина своей краткокурсной политграмоте: «А ведь в стране тогда ребром стоял вопрос: кто кого? Или мы их, или они нас. Выбора не было».

Самое время перевести дух от приступа застарелого страха! Но переведя, подумаем: это в конце двадцатых годов «не было выбора»? И кто же такие «они»? Крестьянские семьи, миллионами ссылавшиеся на голодную, холодную смерть, бабы, детишки, старики — в скотских вагонах? Или Чаянов и его сподвижники, чьи имена только сегодня, несколько месяцев назад, очищены от грязи? Или Ф. Раскольников, не принявший добровольно жертвенную позу и не давший зарезать себя, как теленка? Или все те «враги народа», замученные, высланные в лагеря и ссылки? Какую, право, надо иметь душу, чтобы написать своей рукой — сегодня! — приговор: «Нас устраивал только один ответ... любой ценой». «Л ю б о й ц е н о й...»

С. Залыгин, по словам оппонента, «как бы протягивает руку, как бы прокладывает дорожку к тем, кто пострадал от этих «деяний» и «уклонов» и кто сегодня считает, что наступил как раз тот день, когда можно в художественной форме, а то и в форме голой публицистики сказать в лицо, сказать всю правду тех лет, рассчитаться за те обиды. Ну что же, придется потерпеть». Вот так! «Рассчитаться» за «те обиды» некому — их уничтожили «любой ценой». А вот «сказать всю правду тех лет» обязаны те, в ком живы совесть, сострадание, неистребимая жажда справедливости и правды. И как понимать «придется потерпеть»? Мол, подождем немного, вот кончится все э т о?..

Если ты человек этой национальной культуры и ты знаешь, что другой человек приехал на свою родину умирать, у тебя никогда язык не повернется по этому поводу злорадствовать. Если ты полемизируешь с одним из самых уважаемых в стране писателей, не надо с такой развязностью дергать его за волосы или похлопывать ниже спины. А уж если ты заговорил о миллионах жертв, нельзя подмигивать.

Ерничать на тему о коллективизации — значит с полным неуважением относиться к прошлому своего народа. На чем пляшется литературная «кадриль»? На костях?

В. Росляков пытается завершить свой «Реванш?» многозначительным художественным образом. Прибегая к аналогии с автомобилем, он пугает: разогнали, мол, машину, не пора ли притормозить? И вспоминает, как в молодые годы учили его определять наличие тормозной жидкости: на запах.

Запах есть. Но тот ли? Он не показывает потерю автомобилем управления, а явственно свидетельствует о попытке затормозить его ход.

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ БОЛОТО

После публикации романа А. Платонова «Чевенгур», романа глубоко новаторского как по содержанию, так и форме и отнюдь не относящегося к легко поглощаемой беллетристике, на которую, увы, еще падок читатель, развращенный многолетним массовым «серым потоком», в редакцию журнала пришло письмо: «...Уважаемый писатель А. Платонов! — написал читатель. — Почему в таком солидном журнале «Дружба народов» такая несусветная чушь и халтура??? В № 3 за 1988 год читал роман «Чевенгур»: «...обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули...» Видно, автор ни о лаптях, ни о лошадях ни малейшего представления не имеет. Во-первых, как обуть на копыто лапти? Когда формы лапти и копыта разные? Как лапоть будет там держаться? Почему, наконец, «обутые в лапти лошади» не будут тонуть в болоте? В лошади примерно 450 кг живого веса, да седло, да винтовка, да всадник. Вот и более 500 кг — давление на каждую ногу около 125 кг. Нога с лаптем под этой тяжестью прекрасно провалится в болотистую почву, а лапоть будет только препятствовать выниманию из почвы ноги. После первого же шага все лапти останутся в болоте. У автора и у редакции полная некомпетентность в данном вопросе. Глубокое невежество! По-Вашему, лапти обладают каким-то из болота выталкивающим свойством??? Они могут только осложнить и усугубить переход через болото. Есть же у нас старые кавалеристы, есть под Москвой полк кавалерийский. Проконсультировались бы».

КАК ОБУТЬ КОПЫТО В ЛАПОТЬ?

Писатель А. Платонов ответить читателю не сможет: умер в 1951 году. Как бы я ни объясняла читателю особенности поэтики волшебной платоновской прозы, сколь бы ни рассуждала о гротеске, иронии, особом ракурсе зрения писателя, своеобразии его языка и стиля, — на обыденное сознание, обделенное пониманием того, что есть чудо преображения искусством, повлиять трудно. И гениальное — «Но учитель Нехворайко обул своих лошадей в лапти, чтобы они не тонули, и в одну нелюдимую ночь занял город, а казаков вышиб в заболоченную долину, где они остались надолго, потому что их лошади были босые», — непереводимо на словарь привычных действий, по поводу которых можно и вправду проконсультироваться с кавалерийским полком.

Это пишет читатель, так сказать, простодушный; и не его вина, а его беда — эстетическая неграмотность. Его совет — призвать для консультации целый полк — показателен. Казарменная эстетика заправленных ко-

ек все еще не потеряла своей привлекательности для иных сограждан. Но, оказывается, она продолжает сохранять свой призывный аромат и для некоторых литераторов.

Сегодня уж никто не брякнет: я, мол, против ваших нововведений, против перестройки, против «нового мышления». Все дружно голосуют «за», перебивая друг друга, как Добчинский и Бобчинский. Стремятся присоединиться к общему хору радостных голосов, гневно осуждающих противников перестройки. Сейчас это модно. И в коллективных письмах, и в единоличных выступлениях гремит гражданская доблесть. Иногда, правда, закрадывается сомнение в искренности новых «подписантов», на что обратил внимание В. Петров в газете «Советская культура»: как прикажете понимать, что одной рукой главный редактор «Молодой гвардии» Ан. Иванов подписывает коллективное письмо «Больше гласности, больше демократии, больше социализма» (в котором, замечу уже от себя, почему-то даже не упоминается реальный повод — так называемое «письмо» Н. Андреевой в «Советской России»), а другой — очередной, апрельский номер своего издания (в печать!), где публикует развернутый манифест защитника сталинизма М. Малахова (1988, № 4). Где Ан. Иванов искренен? Наивный вопрос.

Но вот перед нами, так сказать, разъясняющее — не коллективное, не общежурнальное, — а личное выступление Ан. Иванова в прессе: его интервью газете «Литературная Россия» (6 мая 1988 г.) и журналу «Наш современник» (1988, № 5).

Прилив гражданского гнева вызывает у него разговор о «новинках» (да, да — именно в кавычках!). Пугает нас Ан. Иванов, что благодаря публикациям последних двух лет угаснет интерес к... классике. Помилуйте, это к кому же? К Пушкину? Достоевскому? Толстому?.. Нет, ищите ближе: именно по итогам читательской анкеты 1987 года, результаты которой были опубликованы в «Книжном обозрении», интерес к объемным сочинениям Ан. Иванова резко упал. Однако Ан. Иванов без ложной скромности рассуждает о своем всенародном признании и пытается предстать как бы уполномоченным судить и рядить от лица «трудового народа». Но маска «страдальца» в застойный период (видимо, имеется в виду получение звезды Героя Социалистического Труда из рук К. У. Черненко?) и радетеля за народ мгновенно исчезает, как только речь заходит, скажем, о... классовой борьбе. Он дает и пластический портрет потомка «недобитых» классов: пожилого бухгалтера из совхоза, земли которого некогда принадлежали его дяде. Нет у писателя никаких данных о том, что думает, как ведет себя, во что верит этот человек. Но бдительный «гуманист», продолжатель классических традиций русской литературы без всяких сомнений зрит в корень: «А если дать ему хоть малейшую возможность в е р н у т ь прошлое?»... Ан. Иванов проводит параллели, в том числе с Чехословакией 1968-го и Польшей начала 80-х. По утверждению новоявленного политолога, там пытались «взять реванш» «свергнутые классы»! Вот как все оказывается про-

сто — добили бы всех племянников да племянниц, вырезали классы под корень, вплоть до новорожденных, глядишь, и не было бы забастовки на верфях Гданьска.

Пугает нас Ан. Иванов и тем, что нынче «предлагается массовая переоценка ценностей. Кто сейчас на «слуху»? «Гумилев, Мандельштам, Набоков, Пастернак»,— печалится он. Вот когда за одно их открытое упоминание за Можай загоняли, вот тогда с ценностями, видимо, все было в порядке. И представляется деланным беспокойство Ан. Иванова о снижении интереса к творчеству Маяковского или Горького (чью повесть «Мать» он упорно почему-то именует «романом»). И высокомерным и бездоказательным предстает его утверждение, что многострадальные произведения В. Дудинцева (Ан. Иванов пренебрежительно путает его инициалы), А. Бека, А. Приставкина, Д. Гранина, А. Рыбакова «от большой литературы с ее действительно народными болями и бедами в общем-то далеки». Походя бросая тень на эти произведения и их авторов, Ан. Иванов тщится перечеркнуть ту народную боль, о которой они поведали,— о переселении целых народов, о терроре тридцатых годов, о ядовитой лысенковщине, о формировании Административной Системы, из тисков которой мы не можем вырваться до сих пор. И все это «создано словно «на злобу дня»,— утверждает Ан. Иванов, мол, сидели коварные литераторы да только и прикидывали, чем скандализировать публику.

Может быть, они сидели за письменными столами и не услышали «зов вечности», да ведь не надо забывать, что это были именно те годы застоя в обществе и литературе, на которые выпал удивительно пышный расцвет творчества и карьеры самого Ан. Иванова. Теперь понятнее становится та «тревожная нота», с которой началась беседа В. Свининникова и Ан. Иванова под многозначительным названием «Черный хлеб искусства». «Мы, все советские люди,— ответственно заявляет писатель,— должны быть заединщиками (словечко Ан. Иванова.— *Н. И.*), каковы бы ни были наш возраст, профессия, национальность». Призывая нас «всех» быть с ним заодно, Ан. Иванов, очевидно, имеет в виду (если вспомнить только лишь публикации последних месяцев по разделу критики в руководимом им уж восемнадцать лет журнале) попытку компрометации поэтов «военного» поколения, учиненную С. Куняевым (№ 8); силовые приемы против так называемых «органов быстрого реагирования», продемонстрированные В. Горбачевым (№ 7, 1987 г.); погром прозы Б. Окуджавы — со стороны М. Лобанова (№ 3, 1988 г.); мстительное передергивание позиций критиков Н. Анастасьева или С. Чупринина А. Байгушевым (№ 12, 1987 г.); реабилитацию сталинских методов управления в письме М. Малахова?

Делясь с корреспондентом «Литературной России» самым сокровенным, наболевшим, Ан. Иванов, конечно, охотно рассказывает о том, как он «пострадал» в годы застоя. Нынче все у нас страдальцы — и Ан. Иванов тоже, оказывается, испытал на себе властную руку редактора. Когда

его роман выходил отдельным изданием, вспоминает наш романист, то по сравнению с публикацией в журнале там были сокращены некоторые эпизоды. Вы полагаете, что это возмутило автора? Что сегодня он хотел бы вернуть утраченное? Да ничего подобного. Это мы с вами будем радоваться восстановленному без оскорбительных купюр фильму М. Хуциева «Застава Ильича» или удивляться стойкости А. Германа, не пошедшего на уступки цензорам — как штатным, так и нештатным. Как сказал кинорежиссер в интервью «Вопросам литературы»: «Я уверен, всякий, даже самый настоящий, художник в какой-то момент хотел бы каким-то образом приспособиться к тому, что от него требуют. Вы думаете, Мандельштам не хотел приспособиться? Хотел. Почитайте его стихи. Но мешал талант. Мой отец не хотел? Я не хотел? Да все хотят. Но стыдно. Когда я подумаю, как все это пережил, страшно становится. Ведь у меня за три картины — три строгих выговора. И каждый раз меня начинали увольнять. Из трех фильмов два («Проверка на дорогах» недавно получила Государственную премию СССР, а «Мой друг Иван Лапшин» удостоен Государственной премии РСФСР.— *Н. И.*) списаны в убыток». И все — и премии, и попытка дисквалификации — из-за «упрямства», то бишь стыда перед самим собой, своим талантом, перед нами. А что же на этот счет думает писатель Ан. Иванов? «Поднимать же, как нынче модно, шум по поводу выпавшего эпизода или даже фразы... считаю недостойным!» Завидная послушность.

Уважая творчество прозаика В. Распутина, можно ли быть «заединщиком» с ним, ныне громко заявившим свою поддержку обществу «Память» («Наш современник», 1988, № 1) и полную солидарность с идеями романа В. Белова «Все впереди», по мнению Распутина, полезно воздействующими на читателя («Книжное обозрение», № 14, 1988)?

Ан. Иванов, призывая нас всех быть «заединщиками», в том же интервью выступил против статей А. Гельмана в «Советской культуре», Н. Ильиной в «Огоньке». Так о каком же «заединстве» может идти речь? Представим себе Ан. Иванова с Н. Ильиной, А. Германа с Б. Павленком, хором распевающими славную песню «высокого художественного достоинства» (лексика Ан. Иванова) о «заединстве».

Нет уж, как нас ни призывают и Ан. Иванов, и А. Проханов в заединщики (единственный выход, по Проханову, объединиться в монолит посредством «национального примирения» — кого с кем? Т. Глушковой с Д. Лихачевым, обвиненным ею в смертном грехе элитарности?), лучше посмотреть правде прямо в глаза и, прежде чем объединяться, размежеваться. Я надеюсь, все помнят, кому принадлежат эти слова?

Кстати, А. Проханов, выступивший с идеей «примирения» в статье «Культура — храм, а не стрельбище» («Литературная Россия», 1988, 22 января), недавно предложил развернутую концепцию — на какой основе примиряться. Основа крайне любопытная и заслуживающая пристального внимания.

В своем новом сочинении «Оборонное сознание и новое мышление» («Литературная Россия», 1988, 6 мая) Проханов предлагает глобальную концепцию, идет уже от литературы прямо к политике.

Как мы помним, М. Тэтчер, посетив нашу страну, давала интервью телевидению и, отвечая на вопросы, настаивала на том, что только укрепление оборонной мощи (атомной мощи, подчеркнула она) дало возможность сохранить мир. Концепция вполне абсурдная. Но нашедшая и у нас, оказывается, благодарных «заединщиков». Вот что пишет Проханов: новое мышление стало возможным после достижения военно-стратегического паритета. То есть только благодаря... гонке вооружений? «Только они, создавшие эту мегаструктуру, в состоянии ее нейтрализовать и медленно разобрать» сегодня, настаивает Проханов. А в той конфронтации, которая существовала, кто был виноват? Вы думаете, Пентагон? Военно-промышленный комплекс? Наивные люди! Да ничего подобного: виноваты, по Проханову, разные там пацифисты, экологи и религиозные мистики. Именно они, оказывается, «служили идее конфронтации». Голодал А. Д. Сахаров, английские женщины окружали кольцом Гринэм-Коммон, и все укрепляли конфронтацию. Вот где зло-то таилось.

Неприязнь к «пацифистам» неожиданно сомкнулась в сознании Проханова с еще одной, тоже вполне имперской — давайте называть вещи своими именами — идейкой.

Сегодня контингент наших войск покидает Афганистан. В нашей печати, как со знанием дела пишет А. Проханов, о реальных проблемах, связанных с Афганистаном, практически не говорилось. То есть говорили, конечно, и горячо говорили, но в квартирах, дома, на собственных кухнях. Правда, были у нас и писатели, воспевавшие афганский поход, и первое место среди них принадлежит все тому же Проханову, успевшему выпустить уже два романа, посвященных войне в Афганистане. Причем первый из них вышел... в 1981 году. Так что в эвфемизме Проханова — «мы об этом практически не говорили» — удобное словечко «мы» к нему лично уж совсем не относится. Но и сегодня, когда афганская драма, война, длящаяся в два раза дольше Отечественной, подвергается глубокому осмыслению и общественному пересмотру, когда ее называют «одним из тяжких наследий прошлого» («Известия», 1988, 8 мая), Проханов находит ей оправдание. «...Ввод нашей армии в Афганистан, — пишет он, — не был противоречием доктрине, согласно которой мы — первое и долгое время единственное социалистическое общество, окруженное валом империалистических государств (это в 1979 году?! — *Н. И.*)... были очень заинтересованы в зарождении вокруг нас братских по строю систем, структур». Более того, Проханов прямо настаивает на необходимости экспорта революции: «И чтобы наша революция выжила (в 1979 году! — *Н. И.*), мы вынуждены были часть своих ограниченных ресурсов «отстегивать» в пользу мирового рабочего движения. Это были не только идеологические, финансовые, экономиче-

ские ресурсы, но и, конечно, военные». Не знаю, как вам, а мне больше всего нравится здесь слово «конечно». Никуда, мол, не денешься!

Что же до конкретных судеб наших солдат и офицеров, воевавших в Афганистане, то и им Проханов уже организует будущее, а с их помощью и для всего нашего общества. В каком «позитивном смысле» Проханов предлагает государству их «использовать» (терминологию оставляю на совести автора, который, видимо, глубоко впитал идею, что государство выше человека и только и должно делать, что «использовать» тех, кто «потенциально готов на жертвы», а если не готов, так заставим)?

Оказывается, «оборонное» мышление — по Проханову — и есть «новое мышление»! Как вы понимаете, Проханов иронизирует: «Новое мышление» породил «не СП, не сверхлитература, придуманная пацифистски настроенными литераторами» — увесистый камень в огород Адамовича,— а именно... да-да, не пугайтесь, так и сформулировано — просто на граните слова выбиты: «Новое мышление укрепляется и гарантируется оборонным сознанием».

Что же это за зверь такой — «оборонное сознание»? И как оно будет укреплять мышление новое? А способ-то известен — казарма. Взять да и распространить казарму — сначала по всей стране: «В этом оборонном сознании, которое при поверхностном взгляде может показаться даже казарменным, содержится и сохраняется масса драгоценных элементов»,— правда, Проханов не уточняет, каких именно. Но вчитаемся в будущее, которое отважно обещает нам писатель: «Из военного комплекса бережно, по чайным ложечкам черпать ферменты, ростки и пересаживать их на ту почву, где они могут взрасти. Грубо говоря,— откровенничает Проханов,— выносить их из казармы, из гарнизона... на гражданскую почву, чтоб они привились и начали куститься, цвести».

Оценили? Поняли, к чему призывает Проханов? «Куститься» и «цвести» будут казарменные ростки на нашей земле! Но это еще не все. Уж если человека можно государству «использовать», разрешается, уж если по нашей земле расцветут гарнизонные «цветочки», то неужели перед всем миром остановимся? «Может, это утопия,— грезит Проханов,— но мне хочется верить, что... возникнет как бы всемирный надармейский суперштаб, составленный из них и из нас».

Переведем дыхание. Весь мир — под «надармейским суперштабом», да с казарменными цветочками, пущенными по разным там университетам с их «пацифистами»! Разве не такое будущее вымечтало себе человечество?

Кстати, идеи Проханова, высказанные им еще более откровенно в интервью газете «Ленинградский рабочий» (24 июля 1987 г.), получили полную поддержку небезызвестной Н. Андреевой — в той же газете (9 октября). Н. Андреева — восторженный почитатель как «размышлений» Проханова, так и его художественных произведений. Так, его роман о войне в Афганистане «Дерево в центре Кабула» она называет «одним из лучших в нашей литературе текущего десятилетия». Безого-

ворочно присоединяется Н. Андреева к следующим идеям Проханова: «Полностью разделяю тревогу Проханова за некоторые признаки ослабления руководящей роли партии, обострения общественных противоречий», «согласна, что ничего не сулят нам хорошего компромиссы в области идеологии и культуры». Мы только начинаем широкий процесс демократизации общества, а Н. Андреева, «заединщица» А. Проханова, тоскует по утраченному порядку. «Я иногда думаю: неужели есть искренне считающие,— возмущается она вслед за Прохановым,— что без жесткой централизации управления социально-экономическими процессами, без идейно-политической консолидации, опираясь на принципы рыночной экономики, в кратчайшие исторические сроки мы бы смогли создать современную индустрию...?» Так одним росчерком пера оправдываются миллионные народные жертвы.

В этой статье, своего рода прологе к «письму» в «Советской России», Н. Андреева поддерживает и ностальгические вздохи Проханова о «мегагосударстве», о «старшем брате» (последнее выражение не из Дж. Оруэлла, а из заметки Андреевой). Но в «Ленинградском рабочем» у Проханова есть и более сильные выражения. Так, он пугает, что, осуществляя перестройку, формируют суперменов; предлагает сконструировать специальный механизм, призванный снять «антисоциалистический эффект перестройки»; пугает, что нам придется переселяться в Мексику или Китай, чтобы... жить при социализме. Есть у Проханова идеи и менее глобальные: например, он утверждает, что с помощью телемостов буржуазия... разрушает социалистическую идеологию нашего народа. Уж не вернуться ли опять к испытанному десятилетиями «железному занавесу»? Насколько было бы спокойнее Проханову и Андреевой жить! И за социализмом, главное, не надо было бы никуда ездить. Кстати, непонятно только, какой китайский социализм имеется в виду — маоистский? Имели его по горло — казарменного! с «жесткой централизацией»! — в своем собственном «мегагосударстве».

Словно по заказу к «утопии» Проханова о суперштабе подоспели в журналах публикации нескольких антиутопий: знаменитый «О дивный новый мир» О. Хаксли («Иностранная литература», 1988, № 4), «Скотный двор» Дж. Оруэлла («Родник»), роман Е. Замятина «Мы» («Знамя», 1988, №№ 4, 5), платоновский «Чевенгур», философская сказка Ф. Искандера «Кролики и удавы» («Юность», 1987, № 9). Во всех этих произведениях воссозданы гротескные картины торжества казарменной идеологии.

Это я перечислила «антиутопистов». Из утопистов один Проханов.

Правда, его «утопия» больше смахивает на вселенскую аракчеевщину. А еще на «систематический бред» Угрюм-Бурчеева, который «вознамерился» возвести свой город «на степень образцового» следующим образом: «Всякий дом есть не что иное, как поселенная единица, имеющая своего командира и своего шпиона... и принадлежащая к десятку, носящему название взвода... Пять взводов составляют роту, пять рот — полк.

Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию... Над городом парит окруженный облаком градоначальник, или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть». Чем не прохановский суперштаб? «Тем не менее,— горько замечает сатирик,— когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить Вселенную... Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль... Что же это, однако, за даль? Что скрывает она? — Ка-за-р-рмы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение».

Маркс с гневом осуждал идею казарменного коммунизма. За сталинское воплощение идей социализма в нашей стране, за идеологию «нарастания классовой борьбы», за казарменное отношение к литературе и искусству народом заплачено невосполнимыми жертвами. Именно против грядущего казарменного коммунизма предостерегал А. Платонов в романе «Чевенгур». Сам писатель прошел нелегкий путь прозрения — от безудержного убеждения в необходимости «страшного суда, рабочей расправы», «свирепой ликвидации старого «жлобского хозяйства», в отмене «ненужных и вредных философии, религии, искусства» к «горестному самопокаянию», как назвал роман «Чевенгур» критик И. Виноградов. Это Платонов был убежден, что «дело социальной революции — уничтожить личность», что ради торжества идеи всемирного коммунизма «планеты с пути сметем огнем». Ранний Платонов.

Чтобы понять смысл и значение «Чевенгура», проникнуть в сложное сплетение его идей, от читателя требуется серьезный труд души. Иначе развращенный легкоусвояемым чтивом потребитель будет продолжать строго спрашивать с писателя — наподобие непонятливой Лики из бунинской «Жизни Арсеньева»:

«Я читал:

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли...

Она спрашивала:

— Какие змеи?

И нужно было объяснить, что это — метель, поземка».

Непонятливая Лика не требовала к ответу Фета — за неизвестно каких «змей». Непонятливый читатель «Чевенгура» уже не сомневается в своем праве учить писателя Платонова и пишет возмущенное письмо в редакцию. Прогресс налицо.

Однако стоит открыть страницы разделов критики некоторых газет и журналов, как убеждаешься, что домашние претензии непонятливой Лики — вкупе с казарменными рекомендациями в стиле Проханова — усвоены сегодня в качестве «новой эстетики».

Вышла, скажем, в свет философская сказка Фазиля Искандера «Кролики и удавы» («Юность», 1987, № 9). В социальном гротеске Искандера удавы заглатывают кроликов, предварительно их гипнотизируя. Но один из кроликов, Задумавшийся, путем наблюдений и опытов приходит к неожиданному выводу: «Наш страх — это их гипноз. Их гипноз — наш страх». Преодолеть в себе страх — значит победить насилие. Король кроликов спокойно предает Задумавшегося на «оттлоп» удавам, ибо непокорные одиночки могут нарушить негласный договор. Боится Король, что кролики всерьез задумаются и о том, что их собственное кроличье счастье построено на лжи и воровстве. Можно прочитать сказку как гротескную историю, тем более что у этого жанра есть великий отечественный родоначальник Салтыков-Щедрин. Опыт художественной национальной самокритики, предпринятый Искандером, важен для очищения общественного сознания, для избавления от застарелого страха, от социального гипноза. Напомню, что и в повести «Старый дом под кипарисом» («Знамя», 1987, № 7). Искандер писал: «Без желания гипнотизируемых быть загипнотизированными предприятие уже не имело бы такого грандиозного успеха». Самое опасное для гипнотизера — это смех в зале. Но «непонятливая Лика» и здесь тут как тут. Систему, саркастически изображенную Искандером, критик А. Казинцев, нарочито исключив главное в сказке Искандера — смех, гротеск, фантастику,— трактует как создание образа «если не социальной, то природной гармонии» («Наш современник», 1988, № 2). Непонятливый критик свел сатиру к «насмешке» над народом (позже он назовет ее «пределом падения»).

Казинцев ищет в антиутопии Искандера положительного (упорно держимся за каноны казарменной эстетики!) героя и очень обижается, когда единственный, кто, по его мнению, мог бы взять на себя функцию резонера — Задумавшийся,— допускает отклонения от «задушевного настроя речи» (это в сатире-то?!). Критик гневно осуждает Искандера за жанр, а затем, присваивая себе право говорить от лица «трагического народа», высокомерно выговаривает писателю за то, что он отделил свою позицию от сатирически изображенного мира: «Автор рассматривает персонажей как бы с другого берега, они чужие для него. Он без колебания, без сердечного содрогания признает железный детерминизм, обрекающий их на роль «туземцев», «кроликов». «Он соглашается рассматривать историю под таким углом зрения, который превращает мир в скотский хутор, а людей — в его обитателей». В этом обвинительном заключении, написанном ханжеским пафосом, все поставлено с ног на голову. Автор-сатирик всегда рассматривает свои персонажи отчужденно. Странно было бы выговаривать Гоголю, скажем, за отсутствие сердечного содрогания при изображении в «Ревизоре» взяточников-чинов-

ников или Салтыкову-Щедрину — за то, что и Органчик, и все радостно приветствующие его начинания, да и вся история написаны им отчуждено. Вернее, сердечное содрогание есть и у Гоголя, и у Салтыкова-Щедрина, и у Искандера, но оно происходит от чувства ужаса и отвращения, охватывающего авторов при описании мерзостей российской жизни или русской истории. Как осмелился Салтыков-Щедрин превратить ее в «буффонаду»? А Крылов с его мужиками, медведями и ослами? Явно замахивается на «народ»!

Читатель и критик тоже должен обладать фантазией, если он начинает судить о фантастике. Иначе попадешь впросак.

Басни Крылова тоже при своем появлении подчас трактовались суровыми критиками буквально. И на этом основании автор подвергался остракизму. «Можно ли,— выговаривал Крылову современник,— чтобы щука ходила с котом на ловлю мышей, чтобы мужик нанял осла стеречь свой огород, чтобы у другого мужика змея бралась воспитывать детей, чтобы щука, лебедь и рак впрягались в один воз!»

Отсутствие воображения подтверждают и размышления Казинцева в связи с журнальной иллюстрацией. «Для пущей ясности Питон изображен с руками, одна из которых заложена за борт френча — жест, хорошо знакомый читателям старшего поколения, да и не только им, а другая — жест столь же характерный — убрана за спину (руки у Питона — это, конечно, верх нелепости, но, видно, на что только не пойдешь в рвении обнаружить тенденцию)». Хочется спросить: а речи Питона, кроликов, удавов (а также крыловских Муравья, Стрекозы и прочих) разве не вызывают такого же возмущения у блюстителя литературных нравов? Следуя такой «методе», не пора ли наконец поставить на место Николая Васильевича Гоголя с его Носом, не только живущим самостоятельной жизнью, но и пробравшимся в статские советники?! И вообще если отдельные части лица начнут свободно разгуливать по страницам отечественной словесности, то не поколеблются ли устои? «Напомню,— докладывает Казинцев,— произведение Ф. Искандера опубликовано в молодежном журнале. Оно обращено к самому пылкому, впечатлительному и доверчивому читателю. Легко представить, как отразится на формировании этого читателя знакомство с подобными произведениями». Помнится, и Жданов в своем погроме все упирал на то, что плохо-де влияют Ахматова и Зощенко на молодежь. Набор отстоявшихся аргументов, как видим, невелик. В сказке Искандера Казинцев углядел даже зловредный для общества умысел: «Побудить людей опустить руки, разувериться в возможности торжества добра и справедливости — это ли достойная литератора задача?» Так и видишь человека, который активно трудился, а прочитал сказку Искандера, прилег на диван да так и лежит, разуверившись в добре.

В мартовском номере «Нашего современника» за 1988 год опубликована рецензия Вс. Сахарова на повесть С. Антонова «Васька». Игнорируя эстетическую специфику произведения (в котором тоже важней-

шую роль играют смех, сатира), отвлекаясь от повести Антонова в принципе (да она ему и не так уж нужна, Антонов послужил лишь поводом для высказывания затаенной мысли), Сахаров пишет: «Не хочется вступать в упорно навязываемый нам бесплодный спор о том, что в свое время мы «неправильно» строили, «неправильно» воевали и т. п.».

Позиция Казинцева и Сахарова совпала.

Маленькое отступление.

Я не хочу сказать, что сказка Искандера или антоновская повесть «Васька» лишены недостатков и критике не подлежат. Вовсе нет. Не хочу уподобляться М. Лобанову, который в статье «История и ее «литературный вариант» предваряет инвективы в адрес Б. Окуджавы кокетливым предисловием, в котором объясняет, что он мог бы «покритиковать» некоторых псевдопатриотических авторов, но гордо отказывается от этого и вот по какой причине: «того и гляди, угодишь в недруги: «своих бьешь?!» («Молодая гвардия», 1988, № 3). Нет, не может Лобанов бить «своих»... по причине, конечно же, групповой, пожалуй, впервые так ясно сформулированной. Спасибо ему за откровенность. Вот Б. Окуджава, брезгливо именуемый «поэтом-песенником», не «свой», так с ним можно поступать как заблагорассудится: и сюжет извратить, и текст обрубить, и представить его антипатриотом — даром, что ли, у него героини то полька, то француженка? Тут, не скрою, как на грех вспоминается и пушкинская Клеопатра, вовсе египтянка, или цыганка Земфира, да и Мария Кочубей была украинка... Тьфу-тьфу, бес попутал, лучше уж не задумываться. А то и Пушкина в антипатриоты зачислишь.

Для меня, в отличие от М. Лобанова, литераторы делятся не на «своих» и «чужих», а на талантливых и бездарных. А художественные проблемы могут возникнуть и у талантливых.

Так вот: на мой взгляд, критики не приняли произведений Ф. Искандера или С. Антонова не из-за художественного несовершенства, а из-за того, что прозаики недвусмысленно объясняли, что мы «не так строили» и «не так» построили, что и вызвало уже в наше время к жизни твердое желание общества перестроить неправильно построенное.

Нет, упираются критики, не надо ничего переделывать. «От добра добра не ищут», — утверждает Вс. Сахаров, развивая метафору Московского метрополитена: мол, едут и едут себе в нем люди, и выходить (?) не торопятся, и другого нам не надо. То, что построено в 30—50-е годы, по мнению критика, не нуждается в переделках.

Спрашивается: кто же больше печется о народе: те, кто анализирует прошлое, или те, кто, обвиняя первых чуть ли не в антинародности, в «чуждости» простому человеку, на самом деле всячески противится демифологизации прошлого? Процесс мучительного переосмысления вызывает, оказывается, у вторых лишь ироническую усмешку. «Похоже, что сегодня всюду, и в литературе тоже, наступило время воспоминаний, — иронизирует Вс. Сахаров. — Вообще-то само по себе это обсто-

ятельство удивительное и даже странное, ибо коренные проблемы текущей действительности таковы, что не до воспоминаний». Каково? И как перекликается с этими словами ирония Н. Андреевой из «Ленинградского рабочего»: «Может быть, действительно у нас сегодня нет более животрепещущих проблем, чем дискуссии вокруг неоднозначных и противоречивых явлений полустолетней давности?» Вс. Сахаров продолжает: «Стиль «ретро» заполнил журналы и экраны. Кто грезит о золотом советском червонце, кто о нэпе с его гибкой и прибыльной рыночной экономикой». Это кто грезит? Те, кто воссоздал эпоху массовых репрессий и террора, «сплошной» коллективизации и «чисток», бессудных расстрелов и инсценированных процессов, эпоху насилия, осуществляющегося в невиданных масштабах? И всю эту историческую боль автор «Нашего современника» снисходительно называет «бурными эмоциональными всплесками на поверхности потревоженной памяти»?

Нехитрая казарменная эстетика разработана ради стремления перечеркнуть произведение любой ценой, не гнушаясь передержками текста и деформацией авторской позиции. Но за нею, за этой «эстетикой», стоит более крупная задача: любой ценой попытаться скомпрометировать направление в литературе и искусстве, к которому, несмотря на всю «разность» художественных концепций, относятся и антиутопия Искандера, и пародийная стилизация С. Антонова, и психологические романы А. Рыбакова и В. Дудинцева, и «новый историзм» А. Германа, и трагический гротеск Т. Абуладзе.

Итак, для критиков, обучающих писателей сегодня, во что им обувать своих лошадей, существуют два рода памяти. Горячо приветствуется, скажем, в «Нашем современнике» № 4 возврат к памяти о том, как было все хорошо, оказывается, в глубокой старине («Будут избы красны с т а р и н н о й резьбой, чисто вымыт сосновый порог, да взлетит, словно в с т а р ь, над смолистой избой деревянный веселый конек»). Но память горькая — о недавнем страшном прошлом — почему-то не находит себе здесь приюта и поддержки.

Однако, несмотря на иронических недоброжелателей, искусство и общество в целом все более глубоко анализируют прошлое. Возвращение памяти — процесс не менее болезненный, чем процесс «манкуртизации», лишения человека памяти, превращения его в раба. Гарантий, предохраняющих от «манкуртизма», наше общество еще не изобрело. А для того, чтобы печальные воспоминания, по поводу которых так ерничает Сахаров, не охватили и читателей «Нашего современника», журнал печатает свою версию истории литературы — воспоминания М. Лобанова (№ 4, 1988).

М. Лобанов, конечно же, понимает, что так запросто «отмыть» одиннадцать литераторов не удастся — потребуется все-таки некоторая ловкость рук. Поэтому далее он выдвигает свою версию — под маской объективности и даже... сочувствия. «Объективно было так, что «Новый мир», так сказать, в лице своей критики, задававшей тон журналу, из-

жил себя, исчерпал в своих либерально-прогрессистских претензиях,— вспоминает М. Лобанов.— Да и сам Твардовский уже был тяжело болен (о чем свидетельствуют воспоминания Ю. Трифонова), не мог руководить журналом. Так что слова о гонении на А. Твардовского, на «Новый мир» не более чем плод пристрастного воображения».

Если бы будущий историк литературы (представим себе на минуточку такую возможность) располагал только «воспоминаниями» М. Лобанова в качестве документа,— тогда бы, допускаю, его версия и сработала. Но ему, надеюсь, будут доступны и стенограммы погромных «обсуждений» журнала на секретариате СП СССР, и архивы редакции «Нового мира», хранящиеся в ЦГАЛИ (в том числе и набор поэмы «По праву памяти», запрещенной цензурой), и подробные записи Ю. Буртина об уничтожении редколлегии и поведении Твардовского, опубликованные в № 12 «Октября» за 1987 год; воспоминания В. Каверина; кроме того, травля детища Твардовского (конечно, стихи самого поэта, гордость России, не «трогали», но ведь и не печатали его поэму, запрещали ее) подробно запечатлена в воспоминаниях Ю. Трифонова о «великой борьбе, почти в одиночку», которую Твардовский «вел последние годы» жизни. Что же касается «болезни», о которой говорит М. Лобанов, то процитирую на этот счет ближайшего соседа, Ю. Трифонова: «В июне шестьдесят девятого года, теплыми утрами на реке, от которой парило, я видел зрелого и мощного человека, один вид которого внушал: он победит!» Позволю себе продолжить: «Помню, много говорили о статье А. Дементьева в последнем, недавно появившемся апрельском номере «Нового мира» и в связи с нею — о журнале «Молодая гвардия» и группе критиков, возомнивших себя новыми славянофилами. Об этой публике Александр Трифонович говорил презрительно».

Да, не все и не всеми забыто. Хотя М. Лобанов подтасовывает не только историю общества и литературы, но и пытается бросить тень на слово свидетелей происходивших с «Новым миром» трагических событий и сегодня. Елейный тон сразу меняется на озлобленный: «С тех пор столько времени минуло (почти двадцать лет), столько событий произошло в литературе, налицо такие необратимые духовные изменения в общественной жизни, и вдруг прежние «новомировцы» вылезли (словцо-то какое уважительное.— *Н. И.*) на критическую арену. Впечатление крайней старомодности, идейной архаичности производит статья Ю. Буртина...» Нет, никак не производит! Это уже не только я говорю — это говорят читатели, горячо откликнувшиеся на статью Ю. Буртина. Их письма опубликованы в № 12 «Октября»... А кто эти «вылезшие» новомирцы? Кроме Ю. Буртина — В. Лакшин, И. Виноградов. Неплохая компания!

Если Лобанову не дают покоя они, то В. Кожинову вот уже десять лет не дает покоя Ю. Трифонов. Наиболее значительные произведения Трифонова вызывают у критика приступы наиболее сильного раздражения. Так было с «Домом на набережной», так происходит с «Отблеском костра». Историческая концепция Трифонова подвергается грубейшей

деформации. Кожинов (в статье «Правда и истина»), к которой больше подходит название с другим противопоставлением («Ложь и истина») обвиняет Трифонова в «сосредоточении всего внимания на тридцать седьмом годе», что есть, по Кожинову, признак его «удивительной слепоты». Нельзя про 37-й! Кожинову не хочется!

Ну, во-первых, каждый писатель волен сосредоточить свое художественное внимание на свободно избранной эпохе. Никто, даже сам Кожинов, не волен диктовать художнику период, о котором тот должен писать. Только при полном будущем торжестве прохановской «казарменной эстетики» можно вообразить нечто подобное. Во-вторых, Трифонов не «сосредоточивал» все внимание на 37-м годе, а шел в глубь истории, докапывался до причин террора, протягивая нить своего исследования и в начало 30-х, и во времена революции и гражданской войны («Старик», «Отблеск костра»), и даже глубже — к нечаевщине (роман «Нетерпение»). Историческая концепция Трифонова отличалась провидческой последовательностью. Именно он впервые в нашей литературе горько сказал о «слепоте» отцов. Эта же драматическая мысль содержится и в недавно опубликованном романе «Исчезновение», один из героев которого, старый большевик Николай Григорьевич Баюков, и не догадывается, что в жестокости 37-го года виноват и он сам, отправлявший людей на расстрел в 1919 году. Именно Трифонов впервые вытянул в нашей литературе эту цепь; именно он в «Отблеске костра» восстановил справедливость относительно добрых имен Филиппа Миронова и Бориса Думенко, приговоренных к расстрелу еще в начале 20-х.

Кожинов обвиняет Трифонова в том, что он абсолютно равнодушен к «самой острой и трагической стороне проблемы» казачества. Но ведь роман «Старик» как раз и посвящен Трифоновым этой трагической проблеме! Вспомним эпизод с жестоким, бессудным расстрелом казаков-заложников в станице. Прототипом главного героя был казачий комкор Миронов, имя которому — М и г у л и н — Трифонов дал после прочтения письма Шолохова Горькому о «Тихом Доне»: «я, — писал Шолохов, — ...сознательно опустил такие факты, служившие непосредственной причиной восстания, как бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков». Шолохов «о п у с т и л», а Трифонов н а п и с а л об этом. Именно в «Старике» появляются среди большевиков и страшный Шигонцев, человек с черепом, напоминающим непропеченный хлеб, Шигонцев, который призывает: «Не надо бояться крови! Молоко служит пропитанием для детей, а кровь есть пища для детей свободы, говорил депутат Жюльен...», и Браславский, желающий «пройти Карфагеном» по казачьей земле: «Вы знаете, для чего учрежден революционный суд? Для наказания врагов народа, а не для сомнений и разбирательств». Трагическая ирония истории — по Трифонову — и состоит в том, что Павел Летунов, подписавший приговор казачьему командиру в 1921 году, сам оказывается в лагерях после 1937-го.

На что же Кожинов рассчитывает? На то, что ему на слово поверят те, кто Трифонова отродясь не читал?

РЕАБИЛИТАЦИЯ С ОГОВОРКАМИ?

В воспоминаниях, которыми делятся сегодня писатели и читатели (и над которыми так иронизировал Сахаров — «наступило время воспоминаний»), возникает отнюдь не золотой червонец, как стремится представить критик из «Нашего современника». К нам приходят горькие воспоминания — о голодном и больном Нико Пиросманашвили (А. Чхеидзе. Еще раз о Пиросмани.— «Литературная Грузия», 1988, № 2), о последнем периоде жизни, о болезни и смерти Бориса Пастернака (заметки Галины Нейгауз напечатаны в том же номере «Литературной Грузии»). На этом драматичнейшем фоне, кстати, каким социально-историческим непониманием веет от интервью 1958 года у Пастернака Ольги Карлайл, внучки Леонида Андреева. Это интервью переведено с английского и опубликовано в мартовском номере «Вопросов литературы». Ольге Карлайл непонимание все же простительно, ибо она смотрит на наши драмы как бы со стороны, из своего «далека». Чтобы понять их по-настоящему, нужен, видимо, нелегкий отечественный опыт.

Но вот после долгожданной публикации ошельмованного на родине романа Б. Пастернака «Доктор Живаго», романа, автора которого подвергли открытой травле в нашей прессе, выходит статья Д. Урнова, доктора наук, только что назначенного главным редактором главного теоретического органа литераторов — журнала «Вопросы литературы»: «Безумное превышение своих сил» («Правда», 1988, 27 апреля). Д. Урнов не наивный читатель, требовавший к ответу А. Платонова, и не «непонятливая Лика». Он должен неплохо разбираться в том, зачем и как подковывают литературных «лошадок» и кто на них делает ставку. Тем более непонятно, почему он совершает одну из самых элементарных, «школьных» ошибок — пытается перечеркнуть роман Пастернака при помощи отрицательного мнения о его герое. Как он только не называет (лучше «обзывает») его: и «благополучным «пупсом» до седых волос», и «пустой душой»... Больше всего Д. Урнов сожалеет, что герой-интеллигент-де не приперт «к стенке». Лексика показательная.

Д. Урнов, кстати, тоже ударился в воспоминания — в журнале «Литературная учеба» (1988, № 2) он вспоминает то, что определяет как «отлучение Пастернака». Он, оказывается, прекрасно помнит этот, как он его называет, «эпизод». Вы полагаете, что «отлучение» вызвало у совсем молодого тогда филолога гнев, негодование или хотя бы смущение? Ничего подобного: «То, что происходило в ходе «отлучения», вызвало у меня один вопрос: почему так грубо и неубедительно?» Да, почему так грубо? Можно было, видимо, и поизящней, и поубедительней ошельмовать поэта — так, что ли, понимать? Читаю дальше: оказывается, молодому Урнову роман сразу не понравился. Да и другие, «близкие друзья Па-

стернака» (правда, Урнов почему-то не называет ни единой фамилии, пытаясь создать «интеллигентное» впечатление: мол, было так неловко...) в ответ на его вопросы «почему-то опускали глаза». Все до одного (опять не названы!) опускали глаза вот почему: роман-де слабый. И без всяких доказательств этой «слабости» Д. Урнов пишет: «Когда я прочитал роман, то не только убедился в том, что он слабый, но и поразился, до какой степени слабый...» Не удерживается Урнов и от политического намека: «спасти его мог только скандал, и большой скандал».

Навязываемая читателю логика такова: роман слабый до крайности, автору как-то надо его спасать, вот он и устроил скандал с «Новым миром» и на весь мир! Не по своей воле журнал вернул ему роман с письмом, не Союз писателей исключил Пастернака, не Семичастный кричал со всех трибун, обзывая его последними словами, а, оказывается, Пастернак все это подстроил для спасения своего рахитичного детища!

Но вот сегодня роман напечатан. Наконец он стал доступен всем, и всякий волен сам прочесть и решить, «антисоветский» ли этот роман, «клевещет» ли его автор на наш строй. Это я употребила лексику тех, прошедших времен. Урнов, помнится, морщил нос: «грубо», «неубедительно».

Сегодня он сам постарался, на новом витке судьбы романа, подорвать его воздействие, но попытался сделать это не так грубо. Поубедительнее. Ведь Д. Урнов все-таки человек образованный. Но вот какая странная происходит вещь: как только человек идет на службу неправде, теряет тот самый «стыд», о котором говорил А. Герман, так он теряет и всю свою образованность.

Например, совершенно непонятно, почему Урнов строит всю свою статью на грубейшей, «школьной» ошибке. Ни словом не анализируя поэтику романа, его композицию, образный мир этого лиро-эпического произведения,— то есть уходя от всей работы, что и должен проделать критик и литературовед по выходе книги,— он, в сущности, подменил анализ отрицательной оценкой его главного героя, Юрия Андреевича Живаго, тонкого, рефлектирующего человека, врача и поэта, гуманиста, так сказать, и по профессии, и по душевному складу. Вдумчивое исследование литературного героя ловко замещено оценкой (при этом персонаж оценивается как живой человек!). Да и оценкой эти определения назвать трудно («благополучный «пупс» до седых волос», «пустая душа»). Урнов передергивает с самого начала, объявляя, что это-де «история заглавного героя», и игнорирует в романе всю историческую основу — изображение революции 1905 года и революции 1917 года в Москве, гражданской войны, партизанщины, разрухи России, голода, послевоенной Москвы, Великой Отечественной; сотни персонажей, олицетворяющих разные стороны русской жизни, не интересуют Урнова. Так же Урнов намеренно игнорирует и всю художественную специфику романа: а ведь перед нами проза поэта, главным героем которой является поэт — реальность пропущена дважды через поэтическую оптику. Тут бы

и пригодились знания, понимание ученого! Но не тем озабочен Урнов. Он озабочен тем, чтобы как можно более неприязненно отозваться о герое. Логику подобной оценки лучше всего охарактеризовал в свое время Ю. Трифонов. На вопрос «Кто мне близок из литературных героев?» он отвечал: «В самой постановке вопроса кроется, на мой взгляд, недоразумение. Литературные... герои дороги нам не чертами характера, а той силой воплощения, какую сумел вложить в них автор». И далее: «Оценивать литературных героев по их человеческим качествам — это все равно что прийти на выставку натюрморта и оценивать картины с точки зрения свежести, калорийности и дороговизны пищи, которая там изображена». «Лучшую вещь выставил господин ван дер Плюмп: прекрасное паровое мясо, кувшин сметаны, крупные диетические яйца... Неудачен Снайдерс: две мелких тощих селедки, кусочек засохшего лимона — и все...»

Урнову не нравится Живаго. А мне «не нравится» подпольный человек, и Раскольников Достоевского тоже «не нравится», но это великие герои великих литературных произведений. Нельзя с точки зрения морали героя расценивать художественную и идейную значимость вещи — это азы, и мне неловко их напоминать доктору наук. Я испытываю чувство неловкости и при еще одном необходимом объяснении. Как известно, роман заканчивается стихами Юрия Живаго. Вот что по этому поводу пишет Урнов: «Что ж, стихи — разные, и не все хорошо, тем более, очень хорошо из того, что будто бы написал Юрий Живаго». И далее Урнов разделяет стихи на две стопочки, приговаривая: одни стихи принадлежат Живаго, а другие — Пастернаку. Да простит меня читатель, но что же, опять спрашивать Урнова: кому принадлежат, мол, монологи Гамлета? Принцу датскому или Шекспиру? Давайте устроим глубокомысленное обсуждение в Институте мировой литературы, а потом опубликуем его на страницах «Вопросов литературы».

Стремление любым способом принизить в глазах читателя впечатление от романа приводит к таким курьезам: Д. Урнов не то что солидаризируется с письмом «Нового мира», публикация которого в печати открыла кампанию травли Пастернака,— он надолго останавливается на сцене, которую, видите ли, слишком высоко оценили тогдашние авторы письма!

Раз у нас уж сегодня так сложился разговор — о воспоминаниях, о прошлом и его сегодняшней оценке,— позволю себе привести стихи Пастернака памяти Блока:

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знали бы мы, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет...

И ведь не стыдно! Ничего не стыдно!

Проханов, например, вставляет в свою статью красивую метафору: сегодня, говорит он, в «кислоту общественного самосознания погружаются ценности, и те из них, что оказываются мнимыми, эрзацами, растворяются», а все «истинное — уцелеет». А вот Замятин: «Есть идеи глиняные — и есть идеи, навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильнодействующей кислотой» (роман «Мы»). Подозрительное совпадение у литераторов столь разного стиля, направления мысли и уровня, не так ли?

Но поскольку антиутопист Замятин создал эту мысль-метафору ровно на шестьдесят восемь лет раньше утописта Проханова и сформулировал ее гораздо точнее (необязательно «погружать», надо лишь «капнуть»!), то оставим приоритет все-таки за Замятиным.

Стоит капнуть кислотой здравого смысла на теперешние думы «заединщиков» — возникает странное видение. За застойным болотом колеблются в его испарениях очертания уготованной обществу казармы. Говоря проще, лагеря. Но в осуществлении этого «проекта» мешают Пастернак, Бек, Дудинцев, Искандер, Сергей Антонов, Алексей Герман. Потому и пытаются изолировать их от читателя и зрителя мотками критической «колючки».

Но на наших глазах она ржавеет и распадается.

ОТ «ВРАГОВ НАРОДА» — К «ВРАГАМ НАЦИИ»?

Если обратиться к нашему вечному консультанту Владимиру Ивановичу Далю, то слово «публицист» в его словаре пояснится так: «Писатель, более газетный, журнальный, по современным, общим вопросам, по народному праву».

Именно народным правом озабочена сегодня публицистика. Впрочем, слово «народ» нелегко обнаружить, скажем, в статьях Юрия Черниченко. Как правило, разговор им ведется чисто конкретный — о человеке, о его проблемах. Или — о картошке. Или — о комбайне. Отнюдь не о народе «вообще».

Обратимся к одной из последних «правдинских» его публикаций, напечатанной прямо перед открытием XIX партконференции, — «Анна на шее» (27 июня 1988 года). Речь здесь идет об Иване Рассохе (ставшем, кстати, одним из героев публицистической ленты «На путях перестройки») и о колхозном главбухе, соседке Ивана, Анне Иосифовне. Как пря-

мо формулирует позицию сам автор, «в споре Рассохи с Анной Иосифовной держаться стороны действия, а не красивых речей».

Б. Пастернак, не единожды отлучаемый от народа официозными «критиками», присваивавшими право «клеймить» от лица народа, замечал: «Разве кто-нибудь из нас так туп и нескромен, чтобы сидеть и думать с народом он или не с народом? Только такие фразеры и бесстыдники могут употреблять везде это страшное и большое слово».

ИВАН И АННА, ИЛИ КТО ВИНОВАТ?

Герой Юрия Черниченко — не народ «вообще», не нация «в принципе», а отдельный инициативный человек. Личность. Творческая личность. Антигерой Черниченко — не какие-то «темные силы» инородческого происхождения, с тайной разрушительной целью внедренные в русскую жизнь. Нет, главбух колхоза — своя в доску, «гарна жинка». «У Рассохи всей бухгалтерии — блокнотный листок: взял — сдал — причитается. У нее — выход на Госбанк и право подписи, без ее воли ни один волос не упадет, монополия на знание всего законного и тайна касательно не очень законного. У того только вилы, трава да «Мартыны». Иван для бухгалтерии, что ни говори, все-таки нужен, а бухгалтерия Ивану — в диктаторско-учащем варианте — совсем нет.

Плетень между усадьбами стал разделять мировоззрения».

Но от конкретности современной Черниченко идет вглубь — в историю. Прекрасно он понимает, что для борьбы за Ивана, в поддержку ему необходимо сегодня четкое историческое знание. Как говорил Гриша Ребров в трифоновском «Долгом прощании»: «Моя почва — ...все то, чем Россия перестрадала». Близок этой заповеди и Черниченко. Поэтому от рассказа об Иване Рассохе и Анне Иосифовне он переходит к краткому, газетному, но анализу историческому, экспресс-анализу исторически сложившейся ситуации. И не только сталинщиной и ее последствиями озабочен публицист. Вот какой документ он приводит: «...Мною было приказано объявить обязательный засев полностью всей площади озимых полей боевой государственной задачей всех органов власти, особенно волостных и сельских, и губпродкомиссару лично вменено в обязанность 15 октября донести о выполнении приказа.

27 октября 1920 года». Подписано: Ленин. Не веришь глазам, не принимает душа, но ведь в самом же деле: Ленин!»

Вот из какого исторического далека идет та проблема, которую до сих пор не может разрешить государство. Да, то было время военного коммунизма, да, переходили потом от продразверстки к продналогу,— но какой ценой достался нам потом откат на прежние позиции...

На конкретные факты — в том числе и исторические — опирается Черниченко в своей концепции, которая может быть сформулирована более чем кратко: не мешать крестьянину работать. На конкретных фак-

тах строит свою историко-экономическую концепцию и В. Селюнин («Истоки» — «Новый мир» № 5, 1988).

Анализируя публицистику последних «застойных» лет, все тех же глубоко мною уважаемых авторов — Черниченко, Стреляного, Нежного и других,— я не могла не увидеть, что они, постоянно, видимо, сталкиваясь с трудностями прямого публицистического высказывания, стали постепенно переходить к чему-то среднему между публицистикой и беллетристикой. К беллетризованной публицистике. Растянутой, сюжетной, с длинным и малоубедительным психологическим портретированием... Как, однако, быстро все изменилось! Вернулись, слава тебе господи, к своему прямому делу. И как их нарасхват читают сегодня, как горячо обсуждают.

Итак, для понимания проблем современности производится необходимый исторический анализ — иначе диагноз будет поставлен неверно, только по внешним симптомам. Но начали эту нелегкую работу не публицисты, а прозаики. Именно они в период цветущего застоя работали над романами и повестями о недавнем нашем историческом прошлом. И их работа была тоже ответом на современность, тревожным поиском причин. И «копали» они очень глубоко: один только Юрий Трифонов для понимания истоков современного конформизма вел «раскопки» и в 30-х годах, и в 1919—1920-х, и в революции, и даже в 70—80-х годах прошлого века.

Безыллюзорно и ответственно исследовал историческую специфику крестьянского вопроса Федор Абрамов.

Не случайно все глубже и глубже спускался в шахту истории Василь Быков.

В фильме «Зеркало для героя» (Свердловская киностудия, режиссер В. Хотиненко) два наших с вами современника «попадают» в 1949 год. Такой фантастический сдвиг. И вот они на своей шкуре начинают познавать те времена. Да еще и времена-то словно заело, как пластинку: никак им не выбраться из одного дня. И только ценой колоссальных человеческих усилий время словно нехотя сдвигается с места...

Вот и мы все сегодня словно попали в те времена — большей частью благодаря прозе и кино,— чтобы осмыслить наше время, наши возможности.

Публицистика в этом движении сначала чуть запоздала — проза и кино вышли первыми. Но сегодня именно она, публицистика, активно занялась делом — фактами, документами, осознанием причинно-следственных связей. Именно этим и ценна сегодня ее работа. Так, в статье «Истоки» В. Селюнину удалось, на мой взгляд, вскрыть действительные корни многих сегодняшних бед нашей экономики. Могут сказать: ну и что? Вот у нас беды, да еще и корни; зачем нам все это, лучше скажите, как лечить?

В. Селюнин, публицист-экономист, не может не апеллировать к истории. Он не просто, скажем, указывает на «уникальный по численности

и немощи аппарат» управления,— он показывает, как этот аппарат исторически складывался. Он не только констатирует наши неудачи в сельском хозяйстве или в производстве средств потребления — он доискивается до Указов Ивана Грозного и Петра...

Селюнин легко предугадывает вопрос оппонентов, благо у них позиция давно отработанная: «Зачем ворошить былое? Ученые люди объясняют: это враги втягивают нас в дискуссию о прошлом, чтобы отвлечь. Враг, само собой, хитер, этого у него не отнимешь. Только как учиться у истории, если опять станем закрывать ее строчки пальчиком: это читайте, а вот этого никак нельзя? А главное, все ли из пережитого принадлежит истории?»

...Говоря «история», «белые пятна истории», мы в основном за прошедшие два года концентрировали свое внимание на Сталине и сталинизме. Это и понятно. Во-первых, структурные порождения сталинизма до сих пор не изменены — и в нашей экономической, и в нашей политической, общественной, гражданской жизни. До сих пор тайна, мраком покрытая, скажем, работа КГБ, неподконтрольная обществу. Полностью эта структура сложилась в эпоху сталинщины.

Но уже заслугой шестидесятых годов была выработка сознания, что фигурой Сталина здесь не обойтись. Что нужно добираться до истоков сталинизма.

ИНВАРИАНТ ИСТОРИИ?

Выше я уже говорила о «прорыве» в историю вопроса у Черниченко. Прежде чем вернуться к статье В. Селюнина, хочу обратить внимание читателя на, может быть, оставленное без внимания предисловие доктора философских наук И. Мочалова к публикации записей В. И. Вернадского («Новый мир» № 3, 1988). Вот на какие серьезные размышления навел его дневник Вернадского: «...в нашей, «домашней» истории в глаза бросается одно обстоятельство: начиная по крайней мере с эпохи петровских реформ, если не ранее, и до наших дней при всех больших или малых, прямых или косвенных, удачных или неудачных, глубинных или верхушечных, мирных или насильственных социальных преобразованиях просматривается общая закономерность: ни одно из этих преобразований не смогло не то что разрушить, но даже сколько-нибудь основательно расшатать некую социальную сверхструктуру, некую авторитетную элитарно-бюрократическую по своей природе суперсистему, словно гигантским обручем стягивающую общество. На протяжении столетий Россия была лишена способности к самоорганизации и саморазвитию в силу полного или почти полного отсутствия эффективно функционирующей системы обратных связей, вследствие чего малоподвижное, консервативное «целое» буквально расплющивало «маленького человека». Проникающая во все поры общества, эта суперсистема играла и играет роль своего рода инварианта российской исто-

рии...». Роль и задачу перестройки И. Мочалов как раз и видит в сокрушении этого инварнанта.

Инвариант этот и подвергается всестороннему осмыслению В. Селюнным. Прн этом отношение публициста к нсторни и ее инварианту глубоко личностное — это так же свойственно для «Истоков», как и для черниченковских статей. И так же апеллирует он не к народу вообще, а к конкретной личности — к матери своей. Она — и адресат статьи («Правда, сынок, правда, так н было»), н судья, первый критик («тут для меня прнговор»), и движущая сила истории («Ее поколение проволокло на себе по рытвинам н ухабам самое Историю...»), и ее жертва («...человек, венец творения, явил собою лишь материал, ресурс для социальных экспериментов, назем, напитавший почву под предполагаемое всеобщее благоденствие»), и вечная укорнзна («как же так вышло?..»). Этот зачин статьн определяет нстинную меру всего того, о чем пойдет речь, — судьбу человека, реальной личности, даже если и не втоптанной в грязь, не зацепленной кровавым колесом истории, но все равно пострадавшей. Слишком хорошо на себе самом в детстве В. Селюнин узнал цену высокомерным словам, произнесенным карточным шулером в горьковской пьесе (н неожиданно ставшим лозунгом государства: «Человек выше сытости»). «Такую дурь, — комментирует Селюнин, — мог сморозить тот, кто голода не знал».

Главная мысль, которую пытается разрешить Селюнин, — это мысль о труде рабском и труде свободном. Внеэкономическое принуждение крестьянства, пишет Селюнин, применялось в первые послереволюционные годы чрезвычайно широко. А еще до того, сразу после революции, с крестьянством велась самая настоящая война, — пора нам уже осмыслить, что сведенне ее к противоборству красных и белых приблизительно. Главный удар пришелся по крестьянскому повстанческому движению. Несмотря на то, что в борьбе против помещика интересы крестьянства совпадали с интересами новой власти, после разгрома белой армии штыки были повернуты против крестьянства. Селюнин приводит и цитату из дореволюционных работ Ленина, обосновывающую такую политику, вызвавшую крестьянские войны («все взрослое мужское население — Тамбовской губернии, — *Н. И.* — ушло в армию Антонова»): «Мы сначала поддерживаем до конца, всеми мерами, до конфнскации, — крестьяннна вообще против помещика, а потом (и даже не потом, а в то же самое время) мы поддерживаем пролетариат против крестьянина вообще» (т. II, стр. 222). Селюнин показывает, как «инвариант» российской нстории, покачнувшийся во время нэпа, опять возвращается на круги своя, только в еще более опасном и бесчеловечном виде. Но Селюнин не оставляет никаких иллюзий по поводу исторического происхождення сталннского плана развития экономики за счет разорения крестьянства, а также всей сталинской системы в принципе.

Уже 31 января 1918 года правительство Советской республики предписало «принять меры к увеличению числа мест заключений». Че-

рез небольшой отрезок времени, в 1919 году, были организованы первые концентрационные лагеря, в которых, по предложению Дзержинского, стали использовать труд заключенных — для решения «чисто хозяйственных задач». Троцкий же и вовсе предложил всю страну превратить в один концентрационный лагерь, и, несмотря на то, что нынешние историки уверяют, что IX съезд отклонил военно-бюрократическую линию Троцкого, обращение Селюнина к основной резолюции съезда доказывает, что в стране вводилась милиционная экономика. Революционные изменения произошли «сверху буквально в считанные месяцы». Но уже с 1923 года нэпу «противостояла грозная оппозиция», которая очень быстро и победила. А затем восторжествовала «классическая форма насилия — работа подконвойных», где заключенного использовали всего две недели, а затем отправляли догнивать в лагерь: «Ими освоены Колыма и Полярное Приуралье, Сибирь и Казахстан, воздвигнуты Норильск, и Воркута, Магадан, построены каналы, проложены северные дороги — всего не перечислишь».

Селюнин ищет корни «военного коммунизма» в отечественной истории — начиная с XVI века, с эпохи столь любезного Сталину Ивана Грозного (на этом поворотном пункте нашей истории произошло огосударствление производительных сил, торможение капиталистического способа производства) и безусловно положительно оцениваемого, столь любезного сердцу многих наших соотечественников Петра. «Именно при Петре,— замечает Селюнин,— достигнута высшая точка огосударствления производительных сил». Петра Селюнин иронически называет «достойным продолжателем» дела царя Ивана. А аппарат надсмотрщиков, восемнадцатимиллионная армия которого сегодня сидит на шее у производителя, исторически формировался столетиями.

ПРОГУЛКА ПО АЛЛЕЯМ РИТОРИЧЕСКОГО САДА, ИЛИ КОЕ-ЧТО О ДУШЕПРИКАЗЧИКЕ

Чего не делает Селюнин — не употребляет всуе слова «народ», не вещает от лица народа.

В отличие от публицистов, ведущих конкретный разговор, прозаики, тоже ныне активно выступающие с публицистическими статьями, часто апеллируют именно к народу, говорят от лица народа. Так, В. Распутин в своем выступлении в «Правде» 24 июня 1988 года — «Знать себя патриотом» (в основу которого положена телевизионная передача) употребляет это слово много раз. «Патриотизм как сознание народа», «мы хотим поддержать у своего народа самоуважение», «гордость за свое происхождение в любом народе», «народ не может явиться случайно», «народ, который обрел память» — это отнюдь не полный перечень.

Второе понятие, к которому постоянно апеллирует Распутин,— это нация, подъем национального самосознания. Нельзя не согласиться с прозаиком, когда он с болью говорит об уничтожении сибирских ле-

сов, обмелении рек и озер, потере драгоценных памятников культуры. Но от этой печальной констатации необходимо идти вглубь, доискиваться до настоящих причин происшедших — да еще и происходящих — драматических событий. Однако Распутин, желая того или нет, словно отделяет народ от полноты ответственности при ответе на поставленный вопрос «кто виноват?». По логике писателя получается, что уж никак не сам народ. «На свидание с прошлым своей Родины пойдут вслед за первыми тысячами миллионы и миллионы, и, прозревшие, наставленные национальной судьбой, они, очевидно, разберутся, что такое патриотизм»,— отвечает Распутин тем, кто считает употребление слова «патриот» по отношению к самому себе, от первого лица неловким. По Распутину, выходит, что и в экологических бедах, и в оскудении певческой культуры, фольклора виноват кто-то извне, а народ — только великий страдалец. Прежде всего хочу заметить, что в своем перечне драм и трагедий народа Распутин почему-то охотно говорит о потерях памятников или лесов — и ничего о миллионных потерях людей. Самого народа. Что же касается вопроса ответственности, то здесь от проблемы народа тоже не уйти. Ведь Распутин, я думаю, вряд ли хочет представить русский народ эдаким младенцем, навеки инфантильным существом, с которым делают что хотят (да и кто делает?).

В. Белов в статье, опубликованной в июньской книжке журнала «Новый мир», пытается дать ответ на вопрос «кто виноват?» следующей выпиской из «Занимательной зоологии»: «Появление жучка ломехуза в муравейнике нарушает все связи в этой дружной семье. Жучки поедают муравьев и откладывают свои яйца в муравьиные куколки. Личинки жука очень прожорливы и поедают «муравьиные яйца», но муравьи их терпят, т. к. ломехуза поднимает задние лапки и подставляет влажные волоски, которые муравьи с жадностью облизывают. Жидкость на волосках содержит наркотик, и, привыкая, муравьи обрекают на гибель и себя и свой муравейник. Они забывают о работе, и для них теперь не существует ничего, кроме влажных волосков. Вскоре большинство муравьев уже не в состоянии передвигаться даже внутри муравейника: из плохо накормленных личинок выходят муравьи-уроды, и все население муравейника постепенно вымирает».

Сильная метафора. Согласимся с уподоблением своего народа «муравьям», на которых направлена внешняя, паразитическая сила? Но не оскорбительно ли это уподобление для народа, радетелем за судьбу которого выступает В. Белов? Логика этого уподобления, кстати, продолжает и развивает опорную концепцию романа «Все впереди»: там тоже некие темные силы, олицетворенные в персонажах нерусского происхождения («жучки»), разлагают изнутри русское общество. Такое противопоставление и поиск виноватых на стороне опять уводят народ от самокритики, от ответственности за свое настоящее. Опять народ нам хотят представить либо инфантильным, либо обладающим низкой «роевой» организацией. Есть, кстати, в этих — во многом правдивых и точ-

ных — заметках В. Белова «Ремесло отчуждения» и прямая неправда. Он пишет: «Почему о расстрелах тридцать седьмого года говорят все от мала до велика, а о расстрелах, начавшихся в конце двадцать девятого года, молчат?» Могу сказать, что о трагедии 29-го года повествуют и «Мужики и бабы» Б. Можаева, и «Овраги» С. Антонова, и записки И. Твардовского, и поэма А. Твардовского «По праву памяти». В статье «Возобновление истории» Л. Баткин[1] пишет: «Нужно... говорить не о бедах насильственной коллективизации, а о том, что она означала с точки зрения социально-исторической, то есть об уничтожении крестьянства как класса, об его прикреплении к земле, о третьем издании крепостничества в России...». Ю. Афанасьев (статья «Перестройка и историческое знание»)[2] отмечает: «коллективизация... стала первым наиболее крупномасштабным преступлением сталинского режима. В ходе коллективизации были впервые осуществлены массовые репрессии. Голод в 1932 г., вызванный этой акцией, унес миллионы человеческих жизней». Академик А. Сахаров: «Насильственная коллективизация и раскулачивание, разорение крестьянства ради темпов индустриализации. Голод с чудовищной изоляцией обреченных на смерть районов. Практически никакой помощи умирающим с голоду. Именно в это время вывоз хлеба и леса на Запад достигает максимального уровня» («Неизбежность перестройки»)[3]. Да, все это появилось на страницах печати в последние годы,— но и о трагедии 37-го года заговорили открыто одновременно. Я в принципе не понимаю, зачем противопоставлять одно черное дело другому. Одни жертвы — другим (чем, кстати, постоянно занимается и В. Кожинов). Выиграет ли национальное самосознание от упорно навязываемого сегодня антагонизма в осмыслении трагического прошлого?

И В. Белов и В. Распутин апеллируют к истории, но прилагают по отношению к прошлому прежде всего слово «гордость». В то же время конкретное, скрупулезное историческое осмысление прошлого, предпринятое В. Селюниным, ни разу слова «гордость» и «патриотизм» не употребившего, принесет, на мой взгляд, больше пользы русскому национальному самосознанию. Если даже на мгновение встать на точку зрения В. Белова, то как сам народ мог терпеть это инородческое паразитирование? О каких духовных силах народа такая ситуация свидетельствовала бы?

Раньше искали «врагов народа».

Теперь ищем «врагов нации»?

Никто не станет спорить с Распутиным о том, что «человечество расцвечено, разбогачено нациями, чтобы учиться друг у друга, любоваться и удивляться друг другу, друг к другу тянуться с жаждой красоты и познания», о том, что «многонациональность земли — это радужность,

[1] — Сборник «Иного не дано». Издательство «Прогресс». Москва, 1988.
[2] — Там же.
[3] — Там же.

музыкальность, чувственность и полнота мира». Никто не спорит. Но даже Распутин искусственно конструирует себе оппонента-современника, который якобы хочет сегодня «исчезновения наций, языков», «оскудения традиций и обычаев». Однако продолжим мысль Распутина до конца: кто-то хочет, предостерегает он, «сжечь и пустить по ветру идеалы неразумных отцов». Вот здесь, как мне кажется, писатель неточен. «Идеалы отцов» — это что? Христианство или язычество? Или, может быть, крепостнические? Или социалистические идеалы, за которые погиб, в частности, и мой родной дед Владимир Нилович Иванов на Перекопе в свои тридцать два года? Или идеалы тех, кого, как одного из моих прадедов, поляка, выслали на Север в 1863 году? Или идеалы другого моего прадеда, русского человека, погибшего на Соловках в 1932-м? Чьи идеалы конкретно? «Идеалы» сталинизма (у него тоже были свои «идеалы» и «принципы») или идеалы Вавилова и Чаянова? Как объединить все это в формулу «идеалы отцов»? Если речь идет в принципе о «национальных идеалах», то надо сначала понять, определить их.

«Гордость за свое происхождение в любом народе правомерна уже одним происхождением» — еще один тезис Распутина. Но, может быть, нормальное человеческое мироощущение не должно все-таки начинаться с гордости — только потому, что ты родился, предположим, светловолосым и с голубыми глазами, а не брюнетом с карими? Уж слишком как-то унизительно легко такая «гордость» будет добыта — да и не добыта, а присвóена, как орден, при рождении!

Семьдесят лет мы только и делали, что гордились. Вот Распутин пишет, что «после 20-х годов... патриотизм как сознание народа был заклеймен и втоптан в грязь». Но дела обстояли не совсем так, вернее, совсем не так. Именно лозунгами «патриотизма» и «гордости» размахивали на партийных форумах; в «непатриотизме» (и «антипатриотизме») обвинялись «космополиты» и «космополитствующие». И Шостакович, и Зощенко, и Ахматова противопоставлялись народу. Все та же печальная история: за народ решали, от его лица выступали, им (и патриотизмом своим) клялись, только до реального положения этого же самого конкретного народа, до его прав (и его ответственности) как-то не доходили... Однако когда слово берет действительно народный писатель и заступник, Федор Абрамов, то у него совсем иная концепция: «Кадение народу, беспрерывное славословие в его адрес — важнейшее зло».

Всегда апеллирует к народу в своих публицистических выступлениях и Юрий Бондарев.

Что вызывает активнейшее неприятие Бондарева? По его мнению, сегодня произошла «подмена долгожданной демократии вседозволенностью «фальшивомонетчиков» искусства». Да-да, именно сегодня. Бьет в колокола Бондарев. Сегодня, говорил он на XIX Всесоюзной партконференции, идет «размывание» критериев, моральных опор, травля и шельмование крупнейших писателей, режиссеров, художников...» Сегодня — когда, наконец, восстановлены в правах, возвращены на Родину

крупнейшие произведения Ахматовой, Булгакова, Платонова, Твардовского, когда напечатаны многострадальные романы Бека, Гроссмана, Дудинцева; когда читатель наконец смог прочесть прозу Набокова, когда восстанавливается справедливость (но не до конца еще!) в отношении Зощенко... Помилуйте! Не перепутал ли Ю. Бондарев наше время с болотом «застоя», когда читателю внушали, что истинным-то героем (а то и дважды) да классиком является Г. Марков или Ан. Иванов?

Но Ю. Бондарев в запале риторики идет и дальше: оказывается, сегодня наша печать «сваливает в отхожие ямы прожитое и прошлое, ...стирает из сознания людей память». Это сегодня, когда к народу трудно, но возвращается память — благодаря «Колымским рассказам» В. Шаламова, книгам О. Волкова и А. Жигулина, Л. Разгона и И. Твардовского, Б. Можаева и С. Антонова... В «аллеях риторического сада» Ю. Бондарев приходит к закономерной для него мысли и о том, что, оказывается, «один грамм веры дороже порой всякого опыта мудреца». Да разве народ за «грамм веры» не расплатился миллионами жертв? Но история, которой клянется Бондарев, поистине учит тому, что ничему не учит,— опять противопоставляем «веру» опыту мудреца, то есть правде... По Бондареву, восстановление «белых пятен» истории подрывает «доверие к истории», а правда о прошлом может «разрушать веру (опять! — *Н. И.)* молодежи **в святость** не напрасно прожитой военной биографии старшего поколения, не всегда одерживавшего победы» (подчеркнуто мной.— *Н. И.).* Никто не забывает и о подвиге этого поколения, как и других, воевавших с ним рядом. И потом — вымолвить о своем поколении «святость» — не забыть ли о поднятых при голосовании руках, и о яростных речах на собрании, и о позорном молчании, и о конформизме, которого пока еще не миновало ни одно поколение?

Как же определяет сегодня задачу литературы Ю. Бондарев?

«Главное,— пишет он,— быть душеприказчиком своего народа».

Но если он уверен, что наш народ уже покойник (по Далю, душеприказчик — «исполнитель последней воли покойника»), то многие в этом, я думаю, сомневаются. Да и как можно русскому писателю объявлять «покойным» народ, который пробуждается от апатии, приходит к новым решениям, рождает новое мышление, народ, который спорит, критикует, предлагает?

Так что же, сначала апеллируем к народу, потом говорим от его лица, как от лица дитяти неразумного, потом уподобим свой народ муравьям и будем искать «врагов нации», а затем объявим его покойником? Или слово «душеприказчик», «по Бондареву», имеет иное значение?

Вот и Ан. Иванов, если составить частотный словарь, то станет видно, что в своей беседе с первым заместителем главного редактора журнала «Наш современник» (№ 5, 1988) В. Свининниковым чаще всего употребляет слова «народ» и «народный». «Они народом приняты», «глубины народного духа», «народной психологии», «приобщиться к народной судьбе», «просвещение народа», «я говорю о писателях, которых

волнуют судьбы именно народа»... А отношение к гранинскому «Зубру» Ан. Иванов (видимо, сам того не желая) выразил фразой, уж вовсе пародийно звучащей: «страшно далеки подобные книги от раздумий о судьбах народных».

Не успел еще по-настоящему развернуться в обществе процесс демократизации, а Ан. Иванов уже пугает: «упускает партия из рук управление подобными процессами (возвращение в нашу литературу несправедливо обойденного.— *Н. И.),* и буйствует стихия разрушения». Удивительными «заединщиками», почти дословно повторяющими друг друга, предстают Ан. Иванов и Ю. Бондарев (назвавший Ан. Иванова в своем выступлении на XIX партконференции «замечательным талантом» и «крупнейшим писателем»).

Интервью в «Нашем современнике» поражает воображение льстивой интонацией вопрошающего, заместителя главного редактора журнала В. Свининникова. О книгах своего собеседника: «известны поистине всенародно», о телесериалах: «впечатляющие». Но главное, к чему стремится Свининников,— создать впечатление, что Ан. Иванов — страдалец эпохи «застоя». Сделать это, скажем прямо, нынче затруднительно, и поэтому интервьюер идет на прямой подлог. По его утверждению (с чем Ан. Иванов благосклонно соглашается), Ан. Ивановым поведано «одним из первых... о культе и его жертвах». Это в 1970-то году (когда был напечатан «Вечный зов», первая книга)! Десятилетие до того писатели (особенно в журнале «Новый мир») прямо говорили о «культе» и его жертвах. И вот когда все затихло, когда был заткнут рот «Новому миру», тут и появился Ан. Иванов с его «трудными» судьбами. Видно, такая угроза устраивала «пропускные органы», если они, столь яростно препятствовавшие А. Твардовскому, А. Солженицыну, В. Гроссману, оказали благосклонное доброжелательство Ан. Иванову.

А как было не оказать? Если мышление его даже сегодня, несмотря на колоссальные изменения в общественной жизни, остается прежним? Цитирую «Наш современник»: зачем, жалуется Иванов, упрощать «такую сложную личность, как Сталин», личность «шекспировского накала страстей и масштаба действий». В восхищении «заслугами» вождя Ан. Иванова перекрыл пока только А. Ланщиков. «Конечно, Сталин был великим государственным деятелем,— утверждает он перед лицом миллионных жертв,— и лично я стою на той точке зрения, что именно благодаря Сталину наша страна в очень короткий срок превратилась в могучую индустриальную державу и сыграла решающую роль в победе над фашизмом...» («Наш современник» № 7, 1988).

Но старательно накладываемый грим «страдальца» в застойный период и борца за торжество «народной» оценки искусства тут же исчезает, как только речь заходит об... обострении классовой борьбы. Да-да, читатель, вы не ослышались! Любовно журя и порицая Сталина («сложную личность»), Ан. Иванов практически повторяет излюбленный сталинский тезис: «свергнутые классы всегда пытаются взять реванш».

В 1988 году Ан. Иванов утверждает то, что Иосиф Виссарионович насаждал в 1929-м. И за что народ поплатился национальной катастрофой. Более того, наш современник и юбиляр (все эти материалы печатаются к его 60-летию) и сегодня твердит, что те, кто не сгинул в огне гражданской войны, «проникали во все поры общественного организма», и «при любой ошибке в беспрецедентно трудном строительстве» им было «достаточно подтолкнуть энтузиастов — под хорошими лозунгами — к использованию дорогого оборудования с запредельными нагрузками», то есть... к вредительству. Так возрождается образ «врагов народа».

НЕПРИДУМАННОЕ ИЛИ НОВАЯ ПРОЗА

И стихи, и проза, и публицистика прошлого и нынешнего годов возвращают обществу живой, непосредственный, конкретный исторический опыт. Не патетическими заклинаниями, не прогулками по «аллеям риторики» он добывается. Обогащают сумму знаний общества о своей истории не общие словеса и предостережения по начальству, а насыщенные реалиями публикации «новой» (эпитет В. Шаламова) прозы, являющейся в то же время подлинным человеческим документом («Колымские рассказы» В. Шаламова, «Непридуманное» Л. Разгона). Даже рецензия на книгу (нелагерную!) способна вырасти в поразительный человеческий документ, каким стала, на мой взгляд, рецензия Чабуа Амирэджиби на «Избранное» Олега Волкова и предисловие к этой книге Марлена Кораллова («Литературная газета», 13 июля 1988 года). А сколько еще устных свидетельств, которые должны быть записаны! Как не вспомнить опыт «Блокадной книги» Адамовича и Гранина, повествование Светланы Алексиевич — кому, как не ей, скажем, начать записывать подлинно народную книгу о жертвах сталинщины?

«Историческая память складывается из памяти каждого отдельного человека, — пишет во вступлении к «Непридуманному» Л. Разгон. — В этом смысле рассказы мои — малая толика исторической памяти народа». Эти слова перекликаются с мыслью В. Шаламова о том, что «потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и в деревне и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди, или родственники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель — да и не только русский, — который ждет от нас ответа».

Кстати, к разговору о «святости». В. Шаламов пишет: «КР»[1] — это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями». В. Шаламов не хочет, отказывается рисовать нимб «святости» над людьми, перенесшими такие страдания, которые способны были бы сделать

[1] — «Колымские рассказы» (аббревиатура В. Шаламова).

их в наших глазах святыми. Не в этом его цель и как свидетеля эпохи, участника событий. Шаламов отвергает роль «Орфея, спускающегося в ад»,— по его мысли, лагерная тема не тема для писательского «туризма». «Писатель не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли... Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта».

Напрочь отвергаются такой прозой все ухищрения, любая «литература». Не информация, нет, «сердечная рана» есть то, что возникает в прозе. И вопросы, которые ставит писатель в такой прозе, носят глобальный характер. Вот как сам В. Шаламов излагает проблематику «Колымских рассказов»: «Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда этой борьбы, борьба за себя, внутри себя — и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда».

Мы еще вчера с радостью и удивлением находили параллели между десталинизацией общества в 60-е годы и в наши дни. Сегодня мы уже шагнули явно дальше 60-х, когда общественная мысль запнулась после «языческого акта» вынесения тела Сталина из Мавзолея. Или всенародного откровения о том, что «сажали». Вот как буднично пишет об этом Л. Разгон, за плечами которого семнадцать лет лагерей: «убивали, сажали, ссылали — это дело обыкновенное». Сталин и лагеря были всепартийно осуждены, но сталинизм благополучно дожил до наших дней в тихой «застойной» обертке. Структура оказалась незатронутой могучими, бурными «ниспровержениями» шестидесятников. «Легче было сказать в докладе XX съезду... далеко не полную правду о кровавом тиране,— замечает историк Л. Баткин,— и выпустить уцелевших жертв из лагерей, и разрешить напечатать «Теркина на том свете» и «Один день Ивана Денисовича», легче было Хрущеву — при всей исторической громадности этого шага — отменить террор, чем сейчас довести десталинизацию до конца, то есть демократизировать саму систему, убрав бюрократически-сталинские ее элементы, схемы, обыкновения. Не умаляя оттепели 60-х, мы все понимаем, что Хрущев удалил вершки, и это не воспрепятствовало неосталинистской реакции. Ну, а теперь дело идет о «корешках» (статья «Возобновление истории»). В историческом же плане этот новый проблемный уровень означает переход к причинно-следственному осмыслению сталинизма и его «корешков» в нашей истории. Ю. Афанасьев в статье «Перестройка и историческое знание» отмечает: «...мы, конечно же, не сможем продвинуться вперед, если вместо ползучих, постепенно и как бы совершаемых тайно, на брежневский манер, попыток реабилитировать Сталина, а вместе с тем реанимировать и сталинизм, будем сейчас, как некоторые это пытаются сделать, возлагать всю ответственность за наше общенародное горе толь-

ко на одного Сталина... многие хотели бы пожертвовать Сталиным во имя спасения сталинизма». Общество сегодня уже не может останавливаться на фигурах Сталина и прочих «вождей». Сталинизм как структура, не изжитая до сих пор и складывавшаяся во многом еще до «отца народов», должен быть осмыслен во всей его совокупности и полноте. И в рассказах В. Шаламова, повествованиях Л. Разгона, Е. Гнедина это глубинное осмысление идет на принципиально новом уровне. Размышления Л. Разгона о том, как формировался «рабский страх перед Сталиным», соседствуют с его же свидетельствами о том, как сами «старболы» уничтожали людей, еще до «воцарения» Сталина. Замечательно, что сегодня реабилитируются Бухарин, Зиновьев, Каменев и другие крупные деятели, но нельзя в нашей «эйфории» забывать о том, кстати, что в 1919 году, как пишет Л. Разгон, Зиновьев и приехавший в Петроград Сталин «приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся, согласно приказу... А также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться».

Фальсификация истории, «систематическое стирание коллективной памяти», подмена памяти мифотворчеством, чем занималась официальная пропаганда и литература официоза, вытесняется сегодня подлинным историческим знанием. Но это «стирание памяти», манкуртизация не прошли для общества бесследно: сегодня оно испытывает, по словам Ю. Афанасьева, «кризис идентичности», не имеет пока абсолютно точного, адекватного представления о себе самом: «Мы смотримся в зеркало и не можем узнать себя. Изображение разбивается на отдельные осколки». Добывается цельность изображения с трудом и — усилиями многих.

Может быть, сегодня история дала нам последний шанс для того, чтобы осознать свой путь, понять, над какой бездной мы стоим, найти в себе силы признаться в трагических последствиях грандиозного исторического эксперимента, твердо повернуть к новому. И наша публицистика, конкретная, реалистичная, концептуальная; проза, мемуаристика снимают с глаз общества катаракту. И делают это — вспомним еще раз с благодарностью датчанина по происхождению, русского писателя Владимира Ивановича Даля — по народному праву.

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАНОВА Наталья Борисовна

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРАХА

Редактор А. Ю. Чернов

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 07.12.88. Подписано к печати 06.02.89. А 08818. Формат 70×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Учетно-изд. л. 3,25. Тираж 150000 экз. Заказ № 3438. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865. ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

15 коп.

Индекс 70668

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

● ЦЕЛЕВЫЕ ВКЛАДЫ НА ДЕТЕЙ

окажут поддержку детям в самостоятельной жизни.

● Эти вклады принимаются на детей до 16 лет независимо от родственных отношений.

● По истечении 10 лет хранения вклада и при достижении ребенком 16-летнего возраста доход выплачивается из расчета 4% годовых.

Дополнительные взносы принимаются в любых суммах как наличными деньгами, так и безналичным путем.

Частичная выдача сумм из вклада **не производится.**

● Если вклад остается на хранении в учреждении Сберегательного банка СССР по истечении 10-летнего срока и если ребенку исполнилось 16 лет и более, а также в случае досрочной выдачи вклада вносителю доход выплачивается в размере 2% годовых.

● **Целевой вклад** — первый шаг ребенка к самостоятельности.

Лучший помощник в этом —
Сберегательный банк СССР!

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонёк». 1989. № 7. 1—48.